

Руфь Зернова

ЭТО БЫЛО
ПРИ НАС



*Зрими и Амете
Славенсичи*

Руфь Зернова

*- от Иерусалимског
дружа*

**ЭТО БЫЛО
ПРИ НАС**

Иерусалим 1988

Ruth Zernova. IT WAS IN OUR TIMES

© 1988 by the author

ISBN 965-337-006-5

**LEXICON Publishing House
P.O.B. 6642, Jerusalem**

СОДЕРЖАНИЕ

Падение Лаврентия Берии	1
Время надежд	50
Искусство	79
Артистка	90
Татьяна Григорьевна	99
Памяти Александра Грина	113
Опасные связи	129
Выставка Роберта Капа	140
Письмо из Лондона	148
Легкая душа	153
Галич по-английски	161
Тройное зеркало	172
”Провода под током”	182
Самый благополучный из советских писателей	188
Жаботинский — прозаик	200
Петлистая жизнь	209
Портрет абсолютно прекрасного человека	230

ПАДЕНИЕ ЛАВРЕНТИЯ БЕРИИ

Пять лет назад в Югославии вышла книга дипломата, бывшего сотрудника югославского посольства в Москве Антона Колендича "Последние дни культа личности". В 1982 г. вышел ее французский перевод. Здесь приводятся некоторые главы этой книги в пересказе.

В основе Сталинского способа управления лежало смещение скомпрометированных или почему-либо неугодных руководителей.

К концу 1952 года многие, даже в самом Политбюро, думали, или, точнее, надеялись, что наконец час пробил: царству и влиянию "меча революции", как назвал некий поэт Лаврентия Берия в оде, ему посвященной по случаю его 45-летия, наступил конец. Его ненавидели все. Позднее, уже после того, как Берия был ликвидирован, Молотов рассказывал, как он, Молотов, видя, что Берия начинает терять влияние и уже не кажется Сталину "таким замечательным" (у него уже отняли оба министерства — госбезопасности и внутренних дел), набрался храбрости и, оставшись со Сталиным наедине, заговорил об освобождении своей жены Полины Жемчужинной, арестованной в 1948 году. Он сказал, что ее не ликвидировали, как объявил Берия, и что у него есть неопровержимые доказательства ее невиновности.

Сталин был в тот день в прекрасном настроении. Он слушал внимательно, обещал своему министру

иностранных дел и старому товарищу по Политбюро рассмотреть "дело" и, если то, что он говорит, правда — освободить его жену.

Ободренный Молотов, по его собственным словам, "расхрабрился невероятно" и спросил:

— Коба, почему ты не прогонишь Берия? Он тебя компрометирует, да и все советское правительство с тобой вместе...

Сталин нахмурился, Молотов замер. Подумав, Сталин спокойно ответил:

— Эх, дорогой Вячеслав Михайлович, а что потом? Потом придется назначить другого Берия...

Сталин давно уже подозревал, что Берия не зря окружил его со всех сторон своими грузинами (это, в частности, особенно раздражало Хрущева на "Ближней даче"; он с удовольствием рассказывает о том, какой нагоняй устроил "Хозяин" Берии по этому поводу и как все грузины, в том числе даже повар — специалист по шашлыкам, были немедленно убраны). И вот, на одной из вечеринок "малого политбюро" Сталин внес предложение — естественно, немедленно принятое: создать отдельное министерство государственной безопасности, которое объединит все разведслужбы. И, так как он уже четко проводил антигрузинскую линию, то в качестве главы нового — весьма важного — министерства он назвал русского человека, Виктора Семеновича Абакумова.

И Хрущеву и Маленкову Сталин говорил, что Абакумов "умный, способный, надежный и очень опытный сотрудник". Он был убежден, что этот человек будет повиноваться только ему — и никому больше.

Но Сталин дряхлел (по позднему выражению Берии) и просто-напросто забыл, что Абакумов в прошлом был бериевским помощником, начальником

военной контрразведки; к тому же Берия был "крестным отцом" абакумовских детей. Мало того: согласно конституции, Абакумов, хоть и министр, подчинялся по-прежнему Берии, который в Политбюро отвечал и за госбезопасность и за внутренние дела.

Берия же торжественно объявил Абакумову о его новом почетном назначении. И Абакумов с самого начала шагу не мог сделать без его указания или приказа — в конце концов это понял и Сталин. Несколько лет Абакумов пользовался, насколько это было возможно, сталинским доверием, получал ордена, награды, звания; зимой 1952 г. он получил звание Героя Социалистического труда. Но тут случилось непредвиденное: завязалось "Дело врачей".

У прогремевшего в январе на весь мир "дела убийц в белых халатах" к 13 января 1953 г., когда появилось сообщение ТАСС, была уже длинная предыстория.

В своих показаниях, написанных осенью 1953 г. в камере военной тюрьмы в окрестностях Москвы, Берия рассказывает об этом деле. Рукопись его сохранилась, и в ней открываются неизвестные доселе и весьма примечательные подробности.

Разумеется, в этих показаниях больше всего оправданий и заявлений о собственной невинности, поскольку они исходят от человека, прекрасно знавшего, что его ожидает. Тут и клятвы в "верности родине", в преданности "линии партии"...

По поводу "дела врачей" Берия стремится доказать, что дело это было сфабриковано именно против него, а также против других членов Политбюро, в первую очередь — Маленкова и Молотова.

Осенью 1952 г., пишет Берия, Виктор Семенович Абакумов, в то время министр госбезопасности

и шеф службы разведки и контрразведки, под страшным секретом сообщил ему, что получил от Сталина список людей, заподозренных в преступной деятельности и шпионаже. Сталин поручил ему проверить обвинения и "сделать что полагается".

Абакумов ему показал этот список. Берия был "поражен и испуган": тут были имена тридцати двух известнейших врачей, которые работали в Кремлевской больнице.

"Я спросил себя, что означает этот список. Сталин потребовал от Абакумова подготовить обвинительное заключение на этих людей, обвинив их в заговоре против руководителей правительства и вождей, с целью свергнуть правительство и реставрировать капитализм.

Кто мог бы поверить, что группа врачей, хоть, конечно, и признанных специалистов, но не игравших никакой политической роли, хочет захватить власть, разрушить советскую систему и установить капитализм!

Всем должно было стать ясно — и в этом направлении Абакумов должен был вести следствие, — что за этими врачами-убийцами скрываются политики, что врачи-убийцы — только орудие в руках могущественных людей. Как всякий член партии, я задался вопросом, кто же те люди, в руках которых, по мнению Сталина, сосредоточены все нити "заговора".

Сталин обвинял врачей, что ими были убиты в Кремлевской больнице два политических деятеля: А. А. Жданов и А. С. Щербаков.

Однако Жданов умер (от белой горячки, как настоящий пьяница, каковым он и был!) в 1948 году, пять лет назад! А Щербаков еще раньше, в 1945!

Что это означало? Видимо, это означало, что

кто-то систематически, планово, медленно, но верно подготавливал эти убийства и захват власти. Кто же?

Я в Политбюро отвечал за кадры и за безопасность. Это я основал Кремлевскую больницу и клинику. Ясно было, что на этот раз обвинения Сталина метят в меня...”

Далее, говоря о том, что ни один из членов Политбюро — ни Маленков, ”официально на XIX съезде названный преемником Сталина”, ни Молотов, ни он сам не были в числе тех, кого замыслили убить, Берия истолковывает это, как грозный знак. Ибо сам Сталин ему говорил еще в 1938 году, что враг хочет уничтожить лучших большевиков. Следовательно те, кто не входил в список предполагаемых жертв ”убийц в белых халатах” — не ”лучшие”, следовательно, они в немилости. ”Другими словами — заканчивает Берия, — ”...они вскоре будут ликвидированы”.

В этом списке оказались только военные — пять маршалов Советского Союза. ”В голове дряхлого диктатора, — пишет Берия, — армия, а не партия представлялась наследницей, обеспечивающей его дело”.

Берия признается, что он испугался — впервые в жизни! — и решил, что надо действовать. Посоветовавшись с Маленковым и Молотовым, он убедил Абакумова, что следствие должно доказать абсурдность обвинения. Но Сталин, когда Абакумов представил ему свой рапорт, пришел в бешенство, тут же снял Абакумова с поста министра госбезопасности и приказал его арестовать.

Новым министром был назначен Игнатьев, ”глаза и уши” самого Сталина в бериевской империи (полиция и шпионаж). Но Сталин опять забыл, что этого Игнатьева ему сам Берия и рекомендовал.

По личному приказу Сталина врачи, которых Абакумов успел выпустить, были снова арестованы. На XX съезде "товарищ Игнатьев", там присутствовавший, рассказал, что Сталин пригрозил отрубить ему голову, если он не добьется от врачей признаний. Как "добиться" — теперь все знают: "бить, бить и бить!" А академика Виноградова заковать в цепи. Все это имеется в материалах XX съезда — в Советском Союзе все еще не опубликованных.

Хрущев в своих воспоминаниях говорит о "Деле врачей" с необычной для него осторожностью, стараясь не вникать в причины. Берия в своих письменных показаниях описывает это дело в подробностях.

Он объясняет, что представляла собой Кремлевская больница и коллектив ее врачей, — поскольку он ее, так сказать, "курировал". Оборудована она была по последнему слову техники — все имущество было ввезено из Франции и Соединенных Штатов. Научное руководство осуществлялось лучшими врачами-специалистами Советского Союза во главе с личным врачом Сталина, вице-президентом Академии В. Н. Виноградовым (тем самым, которого благодарный пациент приказал заковать в цепи).

Гордостью "Кремлевки" была ее библиотека, состоявшая, главным образом, не из книг, а из тщательно расклассифицированных переводов медицинских статей, появлявшихся в прессе обоих полушарий. Переводы поставлялись, разумеется, из очередной "шарашки" — тут она называлась "спеццентр N 3". Спеццентр получал со всего мира медицинские журналы, диссертации, материалы симпозиумов и конгрессов. Специалисты "центра" производили отбор материалов и присылали их на перевод. А классифицировал и каталогизировал все поступающие в

библиотеку материалы ("с чисто немецкой аккуратностью", замечает Колендич) бывший полковник Вермахта Шедер, приговоренный советским трибуналом к расстрелу (не единственный случай не расстрелянного смертника, как мы увидим впоследствии).

Достаточно было врачу "Кремлевки" позвонить по телефону, что нужна справка о лекарстве, лечении, болезни, — и ему доставлялась самая последняя документация и притом на русском языке.

В 1952 г. право пользоваться Кремлевской больницей имели 236 человек — члены Политбюро, члены правительства, ЦК и маршалы Советского Союза. Обслуживающий персонал больницы — от академика Виноградова до гардеробщика — насчитывал более 400 человек.

Среди этих четырехсот работала помощником рентгенолога в группе академика Виноградова некая Лидия Федоровна Тимашук, по совместительству сотрудничавшая с "органами". Сотрудничество ее началось давно — еще когда она была медицинским техником и одновременно студенткой вечернего отделения медицинского института. Берия говорит, что она была "сексотом" (для молодых сообщаю, что это чекистское сокращение слов "секретный сотрудник") и сотрудничала непосредственно с Рюминым (один из "подручных" Берии, отвечавший за Кремль, и первый, ответивший за "дело врачей" в послесталинскую эпоху). Характеризуя Тимашук, Берия пишет: "Страшно честолюбива. Настоящая шлюха: за ночь дежурства принимала по три любовника".

Рюмин обещал ей штатную должность врача и даже предпринял какие-то шаги в этом направлении. Но заведующий отделением профессор М. Б. Коган отказался дать Тимашук требуемую рекомендацию.

Рюмин довел это до ее сведения, заметив, что это "еврейская кухня" и что у него уже давно есть подозрения по поводу всей этой "еврейской сволочи", которая так удобно устроилась в "Кремлевке" и предписывает ей свои законы".

Тут Тимашук сообщила, что слышала, как братья Коган — оба профессора и заведующие отделениями — шептались по поводу диагноза, поставленного маршалу Коневу, которого они лечили. Она отчетливо расслышала, как Б. Б. Коган говорил своему младшему брату: "Подзадержи диагноз, и он отправится к Жданову" (т. е. на тот свет). В первую минуту она не обратила на это внимания, но теперь понимает, в чем тут дело. Рюмин немедленно приказал ей написать докладную записку со всеми подробностями, а тем временем продолжать "раскапывать это дело".

Через несколько дней Тимашук представила Рюмину свою докладную. Прочитавший ее Берия пишет, что это был "такой клубок идиотских выдумок, что ни одна собака бы его не проглотила, даже с маслом".

Там, говорит Берия, были сотни обвинений против медицинских руководителей Кремлевской больницы. Речь шла только о евреях и о непосредственных начальниках Тимашук. Все тут было: и отравления, и удушения, и оставления без кислорода, и десятков убийств. В списке жертв фигурировали все, кто недавно умер в Кремлевской больнице, и убийцами оказывались профессора Коганы и их коллеги.

Абакумов вручил эту докладную Берии со словами: "Я прочел Рюмину нотацию и приказал, чтобы эту докторшу-истеричку выгнали из "Кремлевки" и использовали по специальности в каком-нибудь женском лагере".

Но Лидия Тимашук с этим не согласилась. Из Кремлевского рая — да в ад женского лагеря! Она написала личное письмо самому Иосифу Виссарионовичу и передала его через женщину, чья родная сестра работала на сталинской "ближней" даче. В письме Тимашук жаловалась не на свою судьбу, а на "всемогущество преступников и убийц, готовящих новое покушение на самого вождя народов, любимого Сталина" и повторяла все свои прежние обвинения.

Сталин получил и прочел это письмо без ведома Берии и Абакумова. Он вызвал Абакумова и приказал ему допросить Рюмина (которого Тимашук тоже обвиняла), сменить всю охрану "Кремлевки" и провести тщательное расследование деятельности тамошних врачей, прежде всего "группы евреев-убийц". Он объявил, что у него есть новая информация и новые документы по поводу этого дела.

Эти слова Абакумов истолковал как угрозу.

И это была угроза. В руках Сталина, как потом сказал он сам, находились "страшные доказательства".

Главной уликой, которую позднее Сталин передал в Политбюро, было обвинительное письмо маршала Конева, героя войны и прославленного военачальника, незадолго перед тем назначенного заместителем министра обороны СССР.

В своем письме Конев жаловался Сталину, что группа евреев-врачей Кремлевской больницы убивает его ядом; он утверждал, что "эта группа американских и английских шпионов уже убила многих руководителей, Жданова и других, и готовится убить самого верховного главнокомандующего — Сталина".

Еще и сегодня трудно себе объяснить, как Конев мог написать подобное письмо. На этот счет суще-

ствуют различные теории.

После смерти Сталина, в те несколько месяцев, что Берия был у власти, он покончил с делом "убийц в белых халатах", выпустив тех из них, кто остался жив. По его словам, маршал Конев прекрасно знал, что Сталин не переносит вида прославленных полководцев; знал, что даже поминать имя "героя Москвы, Сталинграда и Берлина" — маршала Жукова — нельзя. Поэтому, желая спасти свою шкуру и "реабилитироваться" в глазах Сталина, Конев и решил доказать ему свою "преданность". А почему маршал заболел? Да он и не заболел, а просто спрятался в "Кремлевке" зимой 1952 года: дело было в том, что он в какой-то своей речи как раз и упомянул маршала Жукова как полководца. Сталин тут же, по телефону, предложил Коневу сдать дела заместителя министра обороны и отправиться командовать каким-то военным округом — а это, как всем известно, уже означало опалу. Коневу же было известно и это, и то, что когда происходила расправа с военачальниками в 1938 году, то спаслись лишь те, кто сумел как-то укрыться под крылышком самого Сталина.

По другим источникам, Сталин, получив письмо Тимашук, вызвал Конева и объявил ему, что его долг как офицера и члена партии, помочь разоблачению банды иностранных шпионов.

Некоторые считают, что все это просто спектакль, задуманный Сталиным, в котором Коневу, популярному военачальнику, была отведена особая роль, с которой он прекрасно справился. Биограф Сталина — И. Дойчер — считает, что целью всей этой сталинской махинации была ликвидация Берии, Молотова, Микояна и всех ветеранов Политбюро, — чтобы никто не мог очернить его перед потомством.

Хрущев тоже говорит в своих воспоминаниях о письме Конева, которому они как бы не поверили, но, конечно, ничего не могли сделать.

Как бы то ни было, последняя точка на истории с коневским письмом была поставлена при аресте и осуждении Берии — ибо именно маршал Иван Степанович Конев был назначен председателем военного суда, приговорившим Берию к смертной казни.

А дело врачей дополнительно повлекло за собой еще и отставку Абакумова.

Во время следствия под пытками в первую же ночь погибли два старых академика; четверо врачей скончалось в тюрьме...

”Правда” в передовой писала: ”Только правые оппортунисты могли забыть предупреждения товарища Сталина... и поверить, что опасность саботажа и шпионажа миновала... Бдительность — вот к чему нас призывает товарищ Сталин”.

Дальше идет про сионистскую организацию ”Джойнт”, под вывеской которой скрывается американская разведка и про профессора Шимелиовича и актера Михозлса (к тому времени уже убитых), которые были связными ”Джойнта” в Советском Союзе.

Дело росло, как лавина. Газеты печатали проклятья врачам-убийцам, и уже в каждом горздраве были намечены, как когда-то во времена врачей-убийц Горького, свои кандидаты в ”убийцы”. Появилась в ”Правде” вдохновенная статья Ольги Чечеткиной ”Почта Лидии Тимашук”. Оказывается, тысячи советских людей посылали ей свои приветствия, благословения и ободрения... Грибачев писал: ”стон стоит на реках Вавилонских, и реки эти называются Гудзон” (тоже в ”Правде”).

Почему вспомнили Михозлса? Да потому, что еще

в 1948 году Сталин сказал Берия, что Михозэлс, как и все руководство Еврейского Антифашистского комитета ведет "антисоветскую политику" и что у него есть доказательства, что комитет стал "центром американского шпионажа".

Вот что пишет Берия: "Когда Сталин на заседании Политбюро объявил о том, что он приказал "распустить шпионский центр" и арестовать членов Еврейского Антифашистского комитета (в числе которых была Полина Семеновна Жемчужина, жена Молотова), Молотов, дрожа, спросил:

— Что будет с Полиной Семеновной?

Сталин с насмешливой улыбкой сказал, обращаясь не к Молотову, а ко всем остальным:

— Что за странный вопрос! Вячеслав Михайлович до сих пор не знает, как советское правительство разговаривает со шпионами империализма!

Молотов замолчал и проголосовал за арест членов Еврейского Антифашистского комитета.

"Однако я приказал, — продолжает Берия, — чтобы Полину Семеновну не допрашивали больше, а совершенно секретно отправили в женский спецлагерь. Я знал, что товарищ Сталин иной раз любит продлить жизнь приговоренных к смерти. Бывало, что некоторых впоследствии освобождали по помилованию".

Действительно, через несколько дней после смерти Сталина, когда Берия собирал сторонников, чтобы получить большинство в Политбюро, он однажды явился к Молотову... вместе с Полиной Семеновной, живой и невредимой. Говорят, он сам ездил за ней в спецлагерь.

"Молотов, — пишет Берия, — плакал, как ребенок, и все не мог поверить, что Полина Семеновна на самом деле вернулась".

Лидию Тимашук не посадили — у нее только отобрали орден Ленина, который ей дали за проявленную бдительность. Но через несколько лет она, по слухам, получила другой орден — в числе группы надежных медицинских работников.

Судьба других членов Антифашистского комитета была более трагической. Лозовский, возглавлявший всю войну советское информбюро, был расстрелян сразу же. Михозлс...

По поводу Михозлса мы читаем в книге Антона Колендича удивительные вещи. По словам Берии он, якобы, был арестован, но в "американской и мировой прессе" об этом заговорили, и Сталин его выпустил. И дальше Берия пишет:

"К сожалению, после выхода из тюрьмы Михозлс был так потрясен, что начал пить и очень скоро в пьяном виде попал под машину и погиб. По приказу Сталина мы организовали ему национальные похороны, как полагалось кавалеру ордена Ленина и народному артисту Советского Союза".

Между тем, в документах XXII съезда подробно описывается "гнусное и коварное убийство великого актера и режиссера Михозлса". Оказывается, работники госбезопасности, готовившие и осуществившие это убийство, тоже признались — видимо, уже после ликвидации Берии.

* * *

В протоколах XX съезда немало документов, относящихся к первым дням после смерти Сталина. Среди них — запись Маленкова, тогда главы правительства, сделанная после (или во время) разговора с маршалом Жуковым. Жуков попросил о приеме и, явившись, заявил, что говорит "от имени ко-

мандования Советской армии". Он потребовал:

1. Немедленного освобождения из-под стражи маршала авиации А. А. Новикова и группы старших офицеров, арестованных "по ложным донесениям Василия Джугашвили".

2. Реабилитации Новикова и других офицеров и возвращения их на прежде занимаемые посты.

3. Ареста и предания суду военного трибунала Василия Джугашвили "как изменника и преступника".

Эти требования обсуждались на заседании Политбюро в четверг 19 марта 1953 года в рамках первого вопроса повестки дня: политическое положение в стране.

Берия выразил недоумение: что это происходит в армии, если отдельные лица (т. е. Жуков) позволяют себе шантажировать Политбюро и правительство в обход Булганина (тогда министра обороны).

Молотов присоединился к Берии и потребовал, чтобы Жуков за это ответил.

Хрущев сказал, что дело не в том, что сказал Жуков, а в том, что надо признать бесспорный факт (и уточнил: "В последние месяцы, особенно после того, как у Сталина проявились первые признаки болезни, было много случаев незаконных и необоснованных приговоров и арестов".) Он закончил заявлением, что по его мнению необходимо освободить и реабилитировать не только маршала Новикова, но и всех оставшихся в живых после "Ленинградского дела", всех профессоров, арестованных по "Делу врачей", жену Молотова, сына Микояна и членов семьи Кагановича.

Маленков согласился, что в самом деле необходимо пересмотреть множество дел, но ни в коем случае нельзя при нынешней ситуации проводить

кампанию, которая могла бы показаться дезавуированием Сталина.

Берия добавил, что его министерство уже начало пересмотр дел и что жена Молотова, как и врачи, находится на свободе.

Молотов пустился в объяснения: он тоже думает, что некоторые дела следует пересмотреть, но все-таки нельзя создавать впечатление, что сейчас исправляются ошибки Сталина и подвергаются ревизии прежнюю политику.

— Мы не должны показывать, что наша позиция ослабела, что мы в прошлом наделали ошибок и теперь вынуждены менять нашу политику. Все это надо провести без всякого шума, как исправление административных ошибок министерства внутренних дел...

Тут Берия запротестовал "против инсинуаций, направленных против моего сектора работы, или, вернее, против меня лично..."

— Но, Лаврентий Павлович, — поднял голос Хрущев, — не будешь же ты нас уверять, что ты не арестовывал людей?..

Тогда Берия вытащил из портфеля связку бумаг и стал их зачитывать. Это были приказы об арестах, высылках и казнях, написанные рукой Сталина.

В отчете фигурирует следующее заявление Берии: "Я одобряю освобождение упомянутых лиц и пересмотр некоторых дел, но хочу уточнить, что, как вы видели, ни я, ни мое министерство сами не арестовывали и не судили, мы только добросовестно и точно выполняли приказы партии, правительства и лично товарища Сталина".

Таким образом, маршал Новиков и группа офицеров, посаженная из-за конфликта с сыном Сталина, были освобождены, что вызвало ликование среди

командования армии. Это было истолковано, как победа армии над госбезопасностью и над Берией лично.

Однако в газетах об освобождении Новикова не было напечатано ни слова. Василий Сталин-Джугашвили, хоть и был отправлен в отставку, не был привлечен к суду военного трибунала: этому воспротивились Берия с Маленковым, и Хрущев с Булганиным их поддержали. Однако после попытки устроить нечто вроде "пресс-конференции" сын Сталина все-таки был арестован — тут даже Берия не мог его спасти. Его судили, по-видимому, заочно (Берия представил справку о его болезни), с огромным числом свидетелей обвинения, и приговорили к восьми годам тюрьмы. Большую часть этого срока Василий Сталин провел в больницах — он был алкоголиком. В 1956 году, после XX съезда, когда в Тбилиси произошли кровавые студенческие беспорядки, о Василии снова заговорила иностранная пресса — будто бы он был там одним из главных ораторов. Но это были ничем не подтвержденные слухи. Существует документ: Хрущев спрашивает согласия министра обороны маршала Жукова (значит, не позднее 1957 года) на перевод больного Василия Сталина-Джугашвили из военной тюрьмы в санаторий. Жуков согласился.

Были слухи, что в 1962 г. Василий Сталин бежал из санатория в Грузию — но на запросы министерства обороны грузинские власти отвечали, что им ничего о присутствии в Грузии сына Сталина неизвестно. Вероятно, это просто слухи, как и сообщение, якобы просочившееся по каналам министерства внутренних дел, что Василий Джугашвили 19 марта 1962 года был найден мертвым в грузинской горной гостинице.

Во всяком случае, точно известно, что могила его — в Казани.

Между тем, Берия воспринял все дело Василия Джугашвили как открытое объявление войны ему лично. Он увидел, что Политбюро уступает напору армии и немедленно поделился с другими членами Политбюро своими мыслями по поводу "угрозы бонапартизма, который хочет задушить партию". Во всем этом, как всегда, он увидел угрозу себе, неожиданное препятствие на пути к власти.

В своих показаниях Берия жалуется: "В разговорах Никита Хрущев всегда соглашался, что нельзя допустить, чтобы на место Сталина пришел "Наполеон" — Жуков, но когда надо было принять конкретные меры, чтобы помешать влиянию военных, он всегда поддерживал их требования. Я, конечно, видел, что он ведет двойную игру. Я и ему самому открыто это говорил, когда весной мы обсуждали результаты второго года пятилетки и спорили, как облегчить бремя вооружения".

На заседании 7 марта 1953 года, когда обсуждалось содержание программных речей на предстоящих похоронах Сталина, Политбюро наметило круг основных вопросов для рассмотрения на будущих заседаниях: речь шла о направлении внутренней и внешней политики.

Следующее заседание Политбюро и было посвящено этим вопросам. Берия подготовил длинное аргументированное сообщение, которое он и прочел. Первым приветствовал его речь Анастас Микоян:

— Давно уже мы не слушали такого основательного анализа. Это мне напоминает лучшие доклады Сталина времен войны и послевоенных успехов.

Подчеркнув, что он говорит о стратегии и генеральной линии партии, Берия доложил о междуна-

родной обстановке и иностранной политике Советского Союза, чего от него не ожидали, поскольку он был министром внутренних дел и госбезопасности, а не иностранных дел.

Берия предлагал, требовал и фактически объявлял перемены, или, скорее, новые направления, новые установки. Все были до такой степени изумлены, что никто, кроме Хрущева (который потом часто это повторял), не понял, что "этот доклад со своими "новыми установками" означал явление нового вождя Советского Союза — Лаврентия Берии".

Со "сталинской уверенностью", о которой сказал Микоян, Берия сделал из своего анализа внутреннего и международного положения Советского Союза следующие выводы:

1. Следует открыто признать, что темпы развития, предусмотренные на два первые года пятилетки, не были выдержаны.

2. Выполнение плана по группе "Б" (сельское хозяйство, снабжение населения, жилищное строительство, поднятие уровня жизни) так сильно запаздывает, что это становится очень опасным.

3. Короче говоря, так продолжаться не может, и потому мы не будем действовать по-старому".

Говоря о международной обстановке, Берия особенно напирал на то, что в США к власти пришла новая администрация с Эйзенхауэром во главе: "Эйзенхауэр проделал войну вместе с нами; в своей инаугурационной речи он сказал, что не желает ни в коем случае новой мировой войны. Это должно быть отправным пунктом наших отношений с США".

Берия говорил спокойно и веско. К изумлению Политбюро, он добавил к своему анализу конкретные стратегические предложения.

Он подчеркнул, что прежде всего надо покончить с войной в Корее, которая длится три года, стоит Советскому Союзу очень дорого и для ведения которой союзники — Северная Корея и Китай — просят и будут просить, и это их право, увеличения помощи, то есть новых вложений и все большего вовлечения в военные действия.

”Надо признать, что положение изменилось. Сталин считал, что война в Корее займет США и они оставят нас в покое. Однако сегодня, когда Америка вооружает Германию и возбуждает против нас Европу, война в Корее может стать предлогом для войны против нас и наших союзников”.

Далее Берия сказал, что надо найти решение немецкого вопроса — европейского вопроса номер один. В связи с усиленным вооружением Западной Германии и Европы возникает такая необходимость модернизации вооружения Советской армии, которую, следует признать, удовлетворить мы не в состоянии.

Доклад Берии вызвал большое волнение. Однако возникли и сомнения. После восторгов Микояна поднялся Молотов. Поскольку его сферой в течение ряда лет были ”международные отношения”, он раскритиковал выводы Берии, пункт за пунктом.

”Это все привело бы, — твердо закончил он, — к ревизии сталинской внутренней и внешней политики, чего, думаю, никто из нас не хочет и не может себе позволить”.

Хрущев был еще тверже: он процитировал заявления американских комментаторов, согласно которым ”Запад считает, что после смерти Сталина советское руководство поколеблено и смущено и не сможет решить, какую политическую линию вести в будущем”.

Он возражал, в особенности, против прекращения

войны в Корее и сокращения вооружений. "Можем ли мы в тот момент, когда нам надо быть особенно сильными, разоружаться и уничтожать ударную силу нашей победоносной армии?" — патетически воскликнул он.

Булганин с большевистским пылом ответил, что об этом не может быть и речи: наша армия всегда готова к бою, и вооружение у нее вполне ультрасовременное, а империалисты угрожают нам все больше и больше.

Маленков же полностью поддержал Берия. Так же поступил Ворошилов, а вслед за ним и остальные.

Под конец слово опять взял Молотов. Он не хотел, чтобы его неправильно поняли. В основном-то он согласен, но все это должно остаться в пределах стратегии, а не пропаганды.

Хрущев и Булганин остались в меньшинстве.

Берия все сделал, чтобы Запад узнал о том, что он ищет общей с ним платформы. Для этого он использовал два своих старинных канала: Аллена Даллеса, начальника американской контрразведки, и Ганса Глобке, "координатора службы информации" в кабинете Аденауэра. С Даллесом он официально сотрудничал во время Второй мировой войны, естественно — как с коллегой. Глобке, хоть и не был нацистским чиновником, работал на американскую разведывательную службу с начала войны, а под конец "оказывал кое-какие услуги" и советской разведке; Берия его ценил. Напомним, что в официальном советском коммюнике, выпущенном после ареста Берии, он обвинялся "в антигосударственной деятельности, направленной на свержение советского правительства в интересах иностранного капитала". "Правда", разъясняя, сообщила о связи его с иностранными разведками.

На допросе Берия признал, что он "работал над разрешением жгучих проблем внешней политики, связанных с войной в Корее и с немецким вопросом", но, разумеется, с согласия главы правительства Маленкова и с разрешения Политбюро.

На микрофильме допросов Берии и его письменных показаний не хватает (они не были сфотографированы) страниц, где говорится о его связях с американцами и западными немцами.

Однако закулисные контакты и переговоры между американцами и СССР по поводу окончания войны в Корее с мая 1953 года, как известно теперь, очень продвинулись — и вел их Берия. Правда, когда был подписан договор о прекращении огня (27 июля 1953), Берии уже не было на политической сцене.

В Берлине же дела сложились по-иному. В мае 1953 года из Восточной Германии Берия отозвал (в частности, из Восточного Берлина) довольно много офицеров, так или иначе скомпрометировавших себя во время оккупации, в том числе офицеров войск НКВД. Он же расширил полномочия немецкой военной полиции и местных органов.

17 июня в центре Восточного Берлина начались антисоветские демонстрации. Началось все с недовольства рабочих: в конце мая нормы выработки были подняты на 10 процентов. Министр строительства пытался с балкона успокоить взволнованную толпу: "Рабочие, я обращаюсь к вам, потому что сам был рабочим..."

"Ты об этом давно забыл!" — кричали ему в ответ. Полетели камни и стекла. Министры бежали. Ульбрихт потребовал вмешательства советских войск. Вместо этого, по личному приказу Берии (через генерала Цейзера, восточногерманского ми-

нистра госбезопасности) по радио было объявлено, что повышение норм отменяется. Полиции было приказано не вмешиваться. Советские части сидели по казармам. Так прошел день 16 июня.

Но за ночь в Москве все переменялось. И 17 июня в дело вступили советские танки. Результаты известны: более шестисот погибших (из них 92 убиты "для острастки"), пять тысяч арестованных. Это было сделано по приказу Жукова, поддержанного Булганиным, наперекор приказу Берии. Тот, едва услышав о том, что происходит, кинулся к Маленкову. Очень взволнованный, Маленков объяснял: "Я должен был дать согласие, у них были серьезные доводы. Жуков в открытую сказал, что, если наша армия быстро и энергично не вмешается, он не отвечает за развитие событий, за судьбу Восточной Германии и других народных демократий".

Умный и опытный Берия понял: Жуков, Булганин и Хрущев объявили ему войну.

* * *

Столкновения начались раньше. Уже 9 апреля 1953 года на заседании Политбюро, которое после XIX съезда начало называться Президиумом ЦК, Берия, докладывавший о внутренней политике, "сделал конкретные предложения, вызвавшие дебаты", — сообщает протокол заседания. Хрущев же вспоминает об этом заседании как о первой победе над Берией. "Даже Маленков стал на нашу сторону", — вспоминал он. "Наша сторона" — это Хрущев, Булганин и Жуков, который присутствовал на заседаниях Президиума, не будучи его членом, — Хрущеву и Булганину не удалось его кооптировать.

Между тем тонкой струйкой, единицами, начали

возвращаться из лагерей первые реабилитированные; родственники других заключенных, иной раз даже высокопоставленные (у Сталина была манера сохранять одного члена семьи репрессированных — часто брата, как в случае Вавиловых, Кагановичей, Крестинских, Кавтарадзе: он любил при случае спросить процветающего брата о судьбе исчезнувшего), стали писать письма, требуя пересмотра дела, "освобождения ни в чем не виновных"... ЦК засыпали письмами; в бумагах XX съезда сообщается, что было получено более 80.000 писем. Вероятно, их было значительно "более".

Да и в лагерях уже тогда начались беспорядки. В протоколе заседания Политбюро от 2 апреля 1953 года записано: "Тов. Берия в обстоятельном докладе сообщил, что в нескольких трудовых лагерях произошли попытки восстания и побега, но своевременное вмешательство органов порядка помогло восстановить спокойствие и дисциплину".

На процессе Берии стало известно, что при наведении порядка в Норильских лагерях было убито несколько сот заключенных.

По воспоминаниям Хрущева о счастливом для него заседании Президиума ЦК 9 апреля, речь шла о предложении Берии не разрешать освобождающимся возвращаться домой, а закреплять их на местожительство в районах, указанных министерством внутренних дел. Это должен был быть новый закон — для защиты системы. Это предложение не было принято. У Берии на этой почве произошло обострение язвы желудка.

Хрущев говорил, что Берия стал тогда замышлять, как бы его, Хрущева скомпрометировать, и "подделал документ" по поводу украинского партийного руководства. Из протоколов заседаний следу-

ет, однако, что "документ" создала специальная комиссия, посланная Президиумом, и принят документ был единогласно, то есть Хрущев тоже был "за". В результате произошло падение прежней украинской "головки", в том числе хрущевского человека Мельникова, русского по происхождению; его сменили Кириченко и Корнейчук — оба украинцы. На заседании Президиума ЦК Берия выступил с заявлением о "некоммунистической практике" в назначении первых секретарей в национальных республиках и автономных областях: все они, по словам Берии, были русские и присланные из Москвы; официальный язык во всех республиках тоже русский. Было принято единогласное решение о том, что руководящие кадры должны подбираться из "местных", а первый секретарь обязательно должен быть уроженцем данной республики, а не русским, присланным из Москвы.

Когда Берию судили, это "единогласно принятое" предложение вменили ему в вину среди прочих "враждебных и антисоветских действий". Берия напоминает, что его предложения были согласованы с Маленковым и Микояном, что Молотов сперва напал на него за "противоречие сталинскому пониманию национального вопроса", а потом голосовал "за", а по поводу Хрущева пишет: "Я знал, что фракционная группа Хрущева попытается использовать это дело для кампании против меня. Я знал, что Хрущев попытается использовать это дело для того, чтобы убедить Маленкова, что я хочу создать конфликт между Москвой и национальными республиками..."

Конечно, он знал. В перечне документов, изъятых при обыске у него на квартире, фигурирует 300 "докладов службы подслушивания". Большинство из

этих докладов исчезло — на микрофильме их нет. Вот один из сохранившихся: разговор Хрущева с Шолоховым.

(Совершенно секретно: С 116 — II отдел. Номер 2178 от 16.05.1953 г.).

(В самом начале заводелом С. Ж. Тихолюбов сообщает, что переписал подслушанный разговор, согласно приказу вышестоящих, и передает только основное).

Товарищ Никита Хрущев: "В наших книгах много правды, но не вся правда. Мы еще далеко не все знаем, что происходило во время коллективизации. Мы, наверное, никогда не узнаем, сколько жизней унесла коллективизация. Вы говорите только про Украину и про отдельные случаи. Я знаю сотни тысяч случаев и, повторяю, только на Украине. Теперь ученые математически, демографически доказывают, что в это время погибло более 12 миллионов жертв... Это ужасно, да, ужасно.

Вы спрашиваете, кто несет ответственность? Когда-то мы с вами говорили — "кулаки", "буржуазия", "империализм"... Сегодня я могу сказать вам о коллективизации по чистой совести.

Первое: сталинские методы коллективизации, кроме насилия и террора, принесли нам только нищету и голод в деревне;

Второе: в то время Сталин уже был диктатором Советского Союза. Рыков, Бухарин, Зиновьев, Каменев были незначительные люди, а Троцкий был в изгнании. Значит, если искать того, кто ответственен за миллионы смертей и за те страшные годы, то надо обратиться к Сталину, с него и спрашивать"...

Другой сохранившийся разговор — Хрущева с Ворошиловым, 6 июня 1953 г. (тот же Тихолюбов, обработав, "убрал лишнее").

”Н.С.Хрущев: Перейдем к важному вопросу. Поведение и затеи Лаврентия Павловича нас серьезно беспокоят. Вы видели, как он себя вел вчера на собрании... и это несмотря на решение Президиума...

К.Е.Ворошилов: Довольно, довольно. Я могу сказать о работе Лаврентия Павловича и о нем самом одно хорошее. Все его действия были плодотворны и полезны стране и партии.

Н.С.Хрущев: Ладно, ладно, Климент Ефремович, но вы, значит, не видите, какие у Берии цели...

К.Е.Ворошилов: Никита Сергеевич, вы, наверное, с левой ноги встали сегодня, что так свирепствуете на всех...

Н.С.Хрущев: Мы больше не собираемся поддерживать его самоуправство. Против него много материала. Даже о его связях с империалистами и международными шпионами.

К.Е.Ворошилов: Честное слово, Никита Сергеевич, вы дурак, что говорите такие вещи. Вы понимаете, где мы живем, где находимся?...

(Опытный Ворошилов хорошо понимал, что там, ”где они находятся”, разговоры прослушиваются).

Кроме всего этого, Берия имел сведения от драматурга и украинского политического деятеля Корнейчука, преданного ему человека, о том, что Хрущев ему говорил об общем недовольстве и что вопрос о Берии будет поставлен на следующем заседании Президиума.

Хрущев в своих воспоминаниях подробно рассказывает, как ему удалось перетянуть на свою сторону всех членов Президиума одного за другим. Молотов, всегда ненавидевший Берия, прежде всего поинтересовался: какова позиция Маленкова? И ког-

да Хрущев его по этому поводу успокоил и сказал, что "прежде всего надо снять Берия со всех его постов", Молотов возразил, что этого недостаточно: "Берия очень опасен, и потому я полагаю, что мы должны принять крайние меры".

Маленкова Хрущев уговорил не выступать сразу после Берии: "Ты сразу объявляешь предложение принятым и переходишь к следующему вопросу... не спеши, помолчи, дай высказаться другим. Увидишь, он не получит большинство голосов. Большинство против него...".

Как был арестован Берия?

Все воспоминания, изданные и неизданные — Хрущева, Булганина, Москаленко, М.К.Кузнецова — начинаются с ареста маршала авиации Новикова, который не поладил с Василием Сталиным-Джугашвили. Этот арест вызвал большое недовольство военных; среди недовольных были маршалы и генералы — Жуков, Конев, Москаленко. Они даже получили поддержку Булганина, тогда министра обороны, и добились у него обещания организовать им встречу со Сталиным. Они хотели доказать Сталину, что "тройка" Берия — Маленков — Абакумов вела во время войны и после победы вредительскую деятельность.

Встреча состоялась, но после пышного ужина Сталина начало тошнить, и его увезли домой — дело происходило 21 февраля 1953 года. Вскоре он умер. Военные не успокоились: после освобождения маршала Новикова и суда над Василием Сталиным они по-прежнему жаловались Булганину на Маленкова и Берию, которые сокращают ассигнования на вооружение и затевают переговоры о мире в Корее. Булганин рассказал об этом Хрущеву. Тот уговорил его, что бороться нужно против Берии, и Маленков в этом готов участвовать. Все это Булганин рас-

сказал в 1953 г., в годовщину победы, восточно-европейским дипломатам, а в 1968 г. чешский дипломат опубликовал этот рассказ в Праге.

Так или иначе, после освобождения маршала Новикова из тюрьмы, военные почувствовали свою силу. Москаленко, по словам М.К.Кузнецова (бывшего офицера военно-воздушных сил; его мемуары, написанные в 1966 г., не были опубликованы; в них широко цитируются воспоминания Москаленко) говорил:

”Празднуя освобождение и реабилитацию маршала Новикова, мы еще раз убедились в старой истине: без борьбы нет победы! Это стало нашим паролем...”

И дальше:

”Воспользовавшись беспорядками в Восточной Германии и передвижением наших оккупационных войск, мы под предлогом ”стратегической перегруппировки” вызвали в Москву, кроме прочих соединений, два дивизиона новейших танков. Они были расположены вокруг Москвы так, чтобы за один час занять все стратегические пункты. Авиацией командовал я, тут проблем не было. В ночь накануне решительных действий — с 20 на 21 июня — мы собрались: министр обороны Булганин, маршал Жуков, Хрущев и я.

Мы продумали все детали, все возможности и во всем пришли к полному согласию. Только один вопрос, помнится, вызвал споры: что делать с Берией? Хрущев предложил, и я сразу с ним согласился, ликвидировать его немедленно, потому что он наверняка попытается защищаться. Это был бы справедливый народный приговор. Но Булганин и Жуков были категорически против:

— Он должен ответить перед народным судом! — настаивал маршал Жуков.

Потом, когда мы вместе возвращались домой, Жуков сказал мне:

— Нам нужен живой Берия, чтобы он дал свидетельства о преступлениях Маленкова и прочих...

Хрущев несколько раз рассказывал о том, "как все было", но самый подробный рассказ он позволил себе на заключительном ужине после XXII съезда:

"Чтобы приход в Кремль большой группы важных военных — одиннадцати маршалов и генералов — не насторожил Берию и его охрану, нам пришлось изменить кое-какие пункты в нашем плане.

Это я и сделал вместе с Маленковым, который, надо сказать, был готов на все. Поэтому мы утром 21 июня через Секретариат известили всех членов Политбюро, что вместо обычного заседания Политбюро состоится общее заседание Политбюро, правительства и специальной делегации Комитета обороны, для обсуждения ситуации в Восточной Германии и ее последствий для международного положения.

...Я много чего видел в жизни, но уж точно не забуду эту изнурительную, бессонную ночь с 21 на 22 июня. Нина Петровна ничего не знала, но чутьем женщины, матери и советской активистки почувяла, что происходит или готовится что-то решающее. Она несколько раз за ночь чай для меня заваривала.

Утром — жарко, первый летний день! Я прибыл в Кремль в одиннадцать часов. Я беспокоился, потому что на нескольких перекрестках увидел танковые колонны. Даже на минуту подумал — все пропало! Берия принял свои меры.

Но вошел в Кремль и успокоился. Офицеры охраны меня уважительно приветствовали — а это были бериевские люди.

Я пришел первым. Маленков — сразу после меня. Видно было, что он нервничает. Мы быстро договорились, и он вызвал начальника охраны. Нам повез-

ло: это был заместитель дежурного офицера, молодой подполковник войск НКВД, а не опытный бериевский генерал. Я подумал, до чего же хорошая мысль мне пришла — назначить заседание на воскресенье, когда все "заслуженные" разъезжаются от московской жары на "заслуженный" отдых по своим прохладным дачам.

Маленков приказал офицеру проводить группу военных с должным уважением ("они все вам в отцы годятся", сказал Маленков с покровительственным, отеческим видом) в зал номер 3, как только они приедут, "потому что, строго сказал он, заседание будет в зале номер 1".

Начало было назначено на 12 часов. Все приехали раньше времени, Берия одним из последних. Как всегда, он вошел в зал, где большинство из нас уже сидели, кивнул, бросил на стол свой вечный кожаный портфель и сказал Маленкову, который что-то писал за своим председательским столом:

— Георгий Максимилианович, мы должны принять срочные меры по поводу того, что происходит в Берлине.

Маленков, не поднимая глаз от бумаги, перебил его:

— Лаврентий Павлович... Вот начнется заседание... это на повестке дня... и вы сможете...

Берия остался с открытым ртом. Видно, его удивила необычная реакция Маленкова. В самом деле, тот всегда перед ним лебезил.

Ровно в 12, когда красный огонек на стенных электрических часах мигнул в последний раз, Маленков постучал карандашом по столу и объявил открытым экстренное заседание Политбюро и членов правительства по вопросу о политическом положении в партии и стране.

Присутствующие одобрили повестку дня. Берия протер очки и вытащил из кармана несколько листов — вероятно, черновик своего доклада.

— Прежде всего, — продолжал Маленков, — мы должны рассмотреть положение в партии...

И тут он запнулся, увидев, что Берия собирается взять слово.

Стало ясно, что наступил решительный момент. Я вскочил с места и, не прося слова, заговорил:

— Товарищ генеральный секретарь прав. Это последний случай, когда партия дает нам возможность открыто и смело, как коммунистам, рассмотреть нынешнее положение и наметить новые пути к победе социализма...

В этом духе я и продолжал и в заключение сказал:

— Поэтому, товарищи, я предлагаю, чтобы мы прежде всего обсудили вопрос о товарище Берии...

Все выразили одобрение — одни громко, другие аплодисментами, третьи просто кивком головы.

Только Берия был смущен, удивлен, просто захвачен врасплох. Он сидел со мной рядом и дружески взял меня под локоть, шепча:

— Да что с тобой, Никита? Что это за злой дух тебя подталкивает? Что это еще за шутки?

Я оттолкнул его руку и громко, чтобы все слышали, ответил:

— Открой уши — поймешь!

И заявил:

— То, что происходит в Восточном Берлине сейчас, то, что Лаврентий Берия предал и продал интересы Советского Союза, это не случайность и даже не ошибка. Нет! Это Берия!

Хочу напомнить вам пленум Центрального комитета в 1939 году. В тот день член ЦК товарищ Гриша Каминский представил доказательства, что Берия,

который тогда был кандидатом в члены Политбюро, работал на английскую шпионскую сеть и сотрудничал с муссаватистами, и что это дело подлежит уже не партийному рассмотрению, а рассмотрению прокурора республики.

Что же произошло, товарищи?

Вместо того, чтобы попасть под следствие, Берия был избран в Политбюро, а Гриша Каминский сразу после пленума исчез бесследно. О нем больше никто не слышал.

...Я говорил долго. Я объяснил и привел доказательства, что Берия ликвидировал всех своих врагов, которые все были настоящими большевиками. И закончил словами: "Берия никогда не был коммунистом, а был расчетливым эгоистом и карьеристом, который в нашей партии увидел идеальное средство осуществить свои планы преступника и шпиона..."

Берия встал и попросил слова.

Тогда вскочил Булганин и крикнул: "Я просил слова раньше тебя!" — и произнес свой доклад, в котором перечислил тяжкие обвинения против Берии.

Потом выступил Молотов, потом Кагановичи Первухин... Ворошилов тоже сделал заявление. Берия все это время молчал, но он не был спокоен.

Наконец, слово взял Микоян. Он попытался разжалобить всех своей "большевистской критикой" и закончил:

— Я уверен, что эта большевистская критика, открытая и дружеская, поможет товарищу Берия осознать свои ошибки и сделать необходимые выводы. И я, как и вы все, уверен, что в будущем нам всем это очень поможет, и отныне, внутри нашего коллективного руководства, мы станем лучше и крепче...

Закончил он так:

— Вот почему я предлагаю перейти ко второму вопросу повестки дня.

Все окаменели. Хуже: и Маленков окаменел. Они смутились и замолчали. Они ведь знали, что Микоян с нами.

Это был момент неуверенности и сомнения для всех. Что же дальше? Но не время было задавать вопросы. Я бросился к председательскому столу Маленкова и нажал кнопку "запасного звонка". Это был сигнал, который смутившийся и растерявшийся Маленков позабыл дать.

Берия поднялся, прочистил горло, надел очки и, опершись обеими руками на стол, приготовился заговорить. В эту минуту двери распахнулись. Толкаясь и теснясь, ворвалась группа генералов и маршалов. Каждый с пистолетом, кое-кто — даже с автоматами. Впереди был Жуков. Он крикнул:

— Руки вверх!

Все подняли руки, кроме меня.

Тут Маленков немного опомнился и сказал Москаленко, который нацелился своим автоматом в спину Берии:

— Как председатель Совета министров Советского Союза, приказываю вам арестовать Лаврентия Берия и передать его компетентным органам.

Под пистолетами и автоматами маршалы и генералы увели Берию.

Это произошло в воскресенье 21 июня 1953 года между часом и двумя пополудни.

25 июня Берия писал Маленкову:

"Двое тащили меня за руки, остальные подталкивали в спину револьверами и автоматами. Они бросили меня в угол "секретариата", как мешок. У меня упали очки и, хоть я им объяснил, что без них ничего не вижу, мне не позволили их поднять. Они

обращались со мной как с диким зверем...”

Через несколько часов после ареста Берии были арестованы почти все его ближайшие сотрудники и приспешники.

Как это было сделано?

Главную помощь оказал министр госконтроля В. Н. Меркулов (одно время он был министр госбезопасности), который после ареста Берии был назначен замминистра госбезопасности, потом арестован и расстрелян вместе с Берией, согласно сообщению “Правды” от 23 декабря 1953 года.

Находясь в тюрьме, Меркулов тоже написал около ста страниц объяснений и заявлений. Из всего этого складывается следующая картина.

Когда Берию вытащили, словно куль с мукой, из зала заседаний, Маленков, овладевший собой, объявил, что заседание продолжается и никому не разрешается покидать помещение. Затем, при всех, он соединился по телефону с помощником Берии, генералом МВД Сергеем Кругловым и приказал ему явиться немедленно в Кремль, оставив у телефона второго помощника — генерала Ивана Серова. Когда Круглов прибыл и ему было сказано, что он назначается министром внутренних дел, потому что Берия арестован и предан суду военного трибунала, Круглов ничуть не удивился. Судя по тому, что он вместе с Серовым немедленно приступил к “чистке аппарата”, Маленков вовлек его в заговор заранее. План чистки, по словам Меркулова, принадлежал Маленкову и сработал безотказно.

“От имени Президиума ЦК и правительства” Круглов по спецтелефону и шифрованными телеграммами приказал заместителям министров внутренних дел республик арестовать своих собственных министров и обоих их помощников “для расследования

их вражеской антипартийной и заговорщической деятельности против Советского Союза в интересах империалистических держав”.

За 24 часа были арестованы все министры внутренних дел всех союзных и автономных республик вместе со всеми их помощниками.

В то же время Хрущев с помощью Меркулова просмотрел всю хранившуюся в ЦК картотеку главных должностных лиц союзного и республиканского министерств госбезопасности. Меркулов не только спасал свою шкуру, выполняя ”партийное поручение”, но и надеялся обеспечить собственную карьеру. Поэтому он, правая рука Берии, добросовестно давал характеристики: такой-то — надежен, такой-то — нет.

Спецуполномоченные со списками ”неблагонадежных” разлетелись по стране в спецсамолетах. Об их прибытии и задании ЦК сообщило на места телексом, так что ”чистку” они провели быстро и без сучка, без задоринки. Полномочия у них были широкие — они могли, например, по договоренности с местным ЦК партии арестовать не министра, а его заместителя. Иногда — обоих, как в Грузии, где Кобулов, уже арестовавший своего начальника Деканозова, был арестован и сам.

Всего по указанию Меркулова, который был арестован в последнюю очередь, было ”убрано” более трех тысяч чинов госбезопасности. Более всего гебешников было убрано из армии — тут чисткой руководила спецкомиссия с Булганиным во главе. 71 человек были расстреляны немедленно или после приговора, в том числе Берия, Абакумов и Меркулов. Двести двадцать четыре — приговорены к тюремному заключению. Остальные были отправлены в отставку или переведены на другую работу.

Процесс Берии в значительной степени сохранился на микрофильмах, хотя там многого и недостает. Вот показания, написанные им собственноручно:

”Я знал, что этот день придет. Я много об этом думал, особенно в последние годы, когда по разным признакам я понял, что Сталин хочет меня отстранить... Я наблюдал и изучал судьбу ”неустрашимого комиссара” Ягоды. Я решил судьбу ”ежовой рукавицы партии” — Ежова. Теперь разворачивается последний акт жизненной трагедии Лаврентия Берии, ”меча революции”, как назвал меня Сталин, вручая мне первый орден Ленина... Я знал, что настанет день, когда моей отрубленной головой будут потрясать перед недовольными массами, крича: ”Это он виноват в вашей нищете! Он задушил свободу!... Мы устроили его процесс, чтобы осудить все наши недостатки!”

Народ поверил этому в 1938 году, когда был ликвидирован Ягода: тогда праздновали ”ликвидацию анархии”. Народ верил этому и в 1939 году, когда убили Ежова. Тогда праздновали ”конец террора”. Я знаю, что завтра, когда на первой странице ”Правды” появится давно подготовленное ”сообщение” с соответствующим комментарием и объявлением, что ”справедливый приговор трибунала был приведен в исполнение и тиран, злодей, преступник, шпион, агент империализма — словом, все несчастья нашего прекрасного мира — Лаврентий Павлович Берия был казнен”, пойдут резолюции; рабочие и колхозники поддерживают... клянутся ”твердому и монолитному ленинскому руководству, очистившему страну”...

Но знает ли наш народ, партия, коммунисты правду? Неужто в самом деле они думают, что я, Л.П. Берия, был так всемогущ, что мог судить или лик-

видировать без суда тысячи, десятки и десятки тысяч человек? Неужто они думают, что те, кто судит меня сегодня, чисты и невинны?

Да! Они умыли руки в моей крови и теперь "открывают новую страницу нашего сияющего будущего"!..

И далее Берия дает характеристику каждому из тех, кто теперь "умыл руки", напоминая как те соперничали перед Сталиным в изъявлениях "личной преданности".

Он вспоминает, как Молотов в 1937 году предложил Сталину для экономии времени обсуждать на заседаниях аресты и приговоры не индивидуально, а "по спискам", которые доставлял Ежов. Как Ворошилов на предсмертной мольбе Якира ("В память наших долгих лет совместной борьбы в Красной армии, прошу тебя, старый товарищ, помоги моей семье, особенно моим маленьким детям, которые остались без средств...") написал: "Разве может такой подлец быть честным? Отклонить просьбу!" Как тот же Молотов, получив письмо от своего друга, университетского профессора Петрова о том, что отец Петрова, академик, арестован, как кажется сыну, по ошибке, — посылает записку Ежову: "Дорогой Ежов! Значит, этот Петров все еще в университете, а не у тебя?" И он же в 1952 году докладывает Сталину (все документы хранились у Берии): "В моем Мининделе больше нет ни одного еврея. Выгнал последнего!" Как тот же Молотов, оклеветавший Н.А.Вознесенского (которого Хрущев назвал потом "арифмометром страны") присутствовал на его пытках.

Многими материалами, которые Берия предусмотрительно сохранил у себя после смерти Сталина, воспользовался Хрущев на XXII съезде, на за-

крытом заседании: ему надо было свести счета с "антипартийной группой".

Тут были материалы на Кагановича (особенно о его палаческой деятельности на Украине с 1947 года, где он по-сталински боролся с националистами), на Маленкова (он сфальсифицировал вместе с Ежовым "антисоветский заговор" в Белоруссии, вместе с Берией пытал и лично убил секретаря ЦК Армении Ханджаяна, был инициатором и организатором "Ленинградского дела"). Конечно, были у Берии "досье" и на Хрущева, и на его подручных — но, конечно, XXII съезду они предъявлены не были.

В защиту свою Берия напоминал, скольким людям (называл сотни имен) он, и только он спас жизнь (тут и жена Молотова Жемчужина, и жена Калинина Евдокия — последняя вернулась в Москву за несколько дней до смерти мужа, она с ним простилась и была на его похоронах, но, видно, уж очень она ненавидела Сталина — что-то себе позволила и опять была сослана)... Он утверждал, что с самого назначения на пост наркома госбезопасности он стремился восстановить законность, прекратить чистки, отменить пытки, которые в 1936 году ЦК рекомендовал применять, назвав их "методами физического воздействия". В его бумагах, по его словам, сохранилась копия доклада, представленного им Сталину и Политбюро, — с цифрами, выкладками, статистикой. Он писал:

Помню, что я перечислил следующие факты. В результате "чистки" в армии, которую проводили Ворошилов и Серов (которые сегодня меня судят), с 1936 по 1938 гг. были ликвидированы:

4 из 6 маршалов Советского Союза;

14 из 16 генералов армии;

8 адмиралов;

60 из 67 комкоров;
136 из 199 комдивов;

Более 20.000 комиссаров и все офицеры, сражавшиеся в Испании (последнее неточно — Р.З.)

”Досье” на подозрительных охватывали половину всего городского населения и почти всю интеллигенцию. За годы чисток арестовано было 5% всего населения страны. Каждая вторая семья имела кого-нибудь в тюрьме. По спискам НКВД в 1938 году, когда я стал наркомом, в тюрьмах и лагерях находилось более 7 миллионов человек. По нашим подсчетам между 1936 и 1938 гг. около 2 миллионов человек погибло или было ликвидировано только в лагерях.

”Обо всем этом я доложил на пленуме Политбюро, правительства и ЦК в декабре 1938 года”.

Надо сказать, что в глазах Запада Берия выглядел, пожалуй, именно таким, каким хотел казаться: сторонником законности. Правда, покойный Джон Кеннеди, еще не будучи президентом, назвал его ”суперменом сталинского образца”, но Кеннан, например, отмечает, что ”назначение Берии обычно связывается с окончанием главной волны террора... И в такой датировке... есть рациональное зерно”. Да и в апреле 1953 года, после освобождения врачей, и ”Нью-Йорк таймс”, и лондонский ”Таймс”, и ”Джерузалем пост” вспоминали именно 1938 год, когда Берия ”покончил с чистками”. Проницательный Гаррисон Солсбери увидел, что ”Дело врачей” — подкоп под Берию. Почему-то Западу этот ”супермен” импонировал.

Генерал Москаленко прислал, наконец, в зал номер один донесение с курьером: ”пакет доставлен и находится в надежном, сухом и неосвященном месте” (Берию доставили в тюрьму в машине скорой

помощи с перевязанной головой, чтобы его не могли узнать). Жуков позвонил по телефону почти сразу после этого и подозвал Булганина. Закончив разговор, Булганин с торжеством объявил: "Найдены все пропавшие архивы товарища Сталина!"

Маленков, видимо, первым понял опасность того, что произошло, и сказал, чтобы Булганин приказал Жукову немедленно доставить все документы в секретариат Президиума ЦК. Но случилось непредвиденное: Жуков стал неуловим, его нигде не было — ни в Генштабе, ни дома, ни даже в квартире Берии, которую уже охраняли не "бериевские молодцы", а офицеры-общевойсковики.

Создалась совершенно непредвиденная ситуация. Военные оказались не просто "преторианцами", выполнявшими решения Президиума, а самостоятельной силой. Эта сила, захватившая не только Берию, но и тайное тайных — сталинские архивы — становилась угрозой для всех без исключения членов Президиума.

Двадцать дней длилась тайная, но упорная борьба. Маленков, Молотов и Хрущев убеждали — и убедили — Булганина, что Берия должен быть ликвидирован быстро и бесшумно — в интересах отечества. Но Жуков и Москаленко отказались наотрез. Его надо судить — настаивали они. И пригрозили: "Со всеми помощниками!"

Хрущев так стремился к немедленной ликвидации Берии, что даже успел рассказать сенатору Реале — тогда видному деятелю итальянской компартии — что "Берия был убит на месте во время заседания Президиума в июне", потому что оказал сопротивление.

Но военные были непоколебимы. В конце концов Президиум уступил, и 10 июля — через двадцать

дней после событий — страна и мир прочли в "Правде" об аресте "меча революции". Правда, слухи поползли раньше...

Военные согласились, чтобы суд над Берией происходил при закрытых дверях. Было найдено что-то вроде компромисса — и военные остались по-прежнему "под водительством партии". Но они продолжали гнуть свою линию. На заседании Президиума 16 июля 1953 года, после доклада Микояна, где речь шла о чистке министерства внутренних дел, слово взял Булганин. В протоколе его выступление отражено так: "Товарищ Н.А.Булганин выразил пожелание, чтобы из трудовых лагерей были освобождены все солдаты и офицеры Советской армии, попавшие в плен во время войны и потом арестованные".

Маленков возразил: нечего поднимать шум по поводу реабилитации офицеров — они все уже освобождены и вернулись в свои части, а вообще освобождать всех подряд нельзя — надо создать специальные комиссии, которые вместе с юристами разберут каждый отдельный случай. Ведь среди этих людей есть и преступники, и шпионы, и коллаборационисты...

Жуков пришел в ярость и потребовал, чтобы предложения Булганина были приняты, потому что "Булганин говорит от имени и по требованию Советской армии".

Маленков снова возразил: Булганин — давний член Президиума, говорит он от своего имени, а не по поручению. Тогда Жуков сказал, что в таком случае от имени Советской армии выступит он — и прочел список требований: освободить всех офицеров, арестованных Берией; реабилитировать офицеров и солдат, убитых в тюрьмах и лагерях, и обеспечить

пенсией их семьи (по его сведениям с 1945 г. в лагерях было убито 5 тысяч советских офицеров); издать закон об инвалидах войны и расследовать преступления, совершившиеся с 1945 по 1950 гг. против инвалидов войны в заливе Петра Великого, близ Владивостока.

Хрущев перебил Жукова, сказав, что не понимает о чем речь. Белый от ярости Жуков ответил: "Спроси у Ворошилова, он это знает лучше, чем я". Ворошилов сказал, что и он не знает. Тогда Жуков вышел из себя и стал кричать: "Почему ты врешь? Абакумов обо всем рассказал!.. Ты, и Маленков, и Молотов, и Каганович, и Хрущев, и Микоян... Всех вас будет судить народный суд, открытый, и вы кончите, как Абакумов!..."

Тут появился опоздавший Молотов с сообщением, что пришла дипломатическая нота от трех держав — США, Англии и Франции, в которой предлагалось создать конференцию по вопросу о Германии.

Скандал был потушен, но Хрущев, которому через несколько лет Жуков помог победить "атипартийную группу", вероятно, не забыл, что натерпелся страху, и избавился от Жукова при первом же удобном случае.

(Дело об инвалидах, о котором рассказал Абакумов, началось в 1945 г. по инициативе Сталина: их сотнями и тысячами, причем самых тяжелых, стали отправлять "для лечения" на Дальний Восток в теплых вагонах. Многие погибли в пути, другие — уже на местах).

16 декабря 1953 года по радио передали, наконец, сообщение ТАСС о том, что следствие "над изменником родины Л.П. Берия и его сообщниками" закончено и в скором времени они предстанут перед судом.

В скором времени предстанут... Однако, как выяснилось, суд над Берией к 16 декабря уже закончился и приговор был приведен в исполнение. Суд начался 14 декабря, в понедельник, закончился на следующий день, и происходил он в Октябрьском зале Дома Союзов. В начале 1956 года, когда шла подготовка к XX съезду, среди делегатов циркулировала отпечатанная на машинке брошюра "Репортаж о процессе бандита Лаврентия Павловича Берия". Кое-кому из делегатов говорили даже, что это — выдержки из протоколов суда, официально отредактированные. Через несколько лет, уже после снятия Хрущева, брошюрка была объявлена чьей-то "хулиганской выдумкой".

Суд был "открытый" — это значит, что в зале находились "надежные" люди, приглашенные по утвержденному Секретариатом ЦК — т. е. лично Хрущевым — списку. Входили по специальным пропускам желтого цвета, на которых, кроме имени, должности и года рождения, стоял красный штамп: "Годен только на 14 декабря 1953 года". Здание было оцеплено солдатами. При входе пропуска проверялись пять раз; входящих обыскивали дважды — при входе в здание и у дубовых дверей Октябрьского зала. Зал же был почти пуст: только первые десять рядов были заняты.

На сцене, уже занятой вооруженной охраной, были отведены места для членов суда и подсудимых.

Суд запаздывал. Заседание, которое должно было начаться в десять часов, началось без нескольких минут одиннадцать. Наконец усатый полковник со сцены скомандовал: "Встать! Специальная военная коллегия Верховного суда Советских Социалистических Республик".

Все поднялись с мест, солдаты замерли по стой-

ке "смирно". Вошли один за другим члены трибунала: первый — Конев, потом, по протоколу, Шверник, за ним Москаленко — все, кроме Шверника, в парадной форме, при всех орденах. За ними шли прочие члены трибунала: Е.Л.Зейдин, Н.А.Михайлов, М.И.Кучава, Л.А.Громов, К.Ф.Лунев. И — последним — вошел прокурор Роман Андреевич Руденко.

Конев, председательствовавший, объявил начало заседания и суда над Берией, Меркуловым, Деканозовым, Кобуловым, Гоглидзе, Мечиком и Влодзимирским. И, тут же: "Военная коллегия... по предложению Совета министров... решила судить обвиняемого Берию отдельно... по причине особой важности совершенных им преступлений".

Далее он огласил решение Верховного совета о лишении Берии всех его должностей и званий; должности и звания были перечислены. Это был длинный список — Конев устал читать. Наконец, он сел, поступал по столу и приказал: "Введите обвиняемого".

Восемь автоматчиков ввели Берию. Он окинул взглядом зал, публику, трибунал на сцене за столом. На Берии был новый темно-серый костюм, светлый галстук. Казалось, он пополнил. Лицо его ничего не выражало, он был спокоен.

Конев начал читать длинное обвинительное заключение. Объявил, что обвиняемых будут судить по закону от 2 декабря 1934 года. Этот закон — совершенно незаконный — издал Сталин после убийства Кирова; он широко использовался во всех знаменитых процессах второй половины 30-х годов.

И тут, как показалось, Конев поперхнулся — замолчал — и взглянул на профессионального юриста Руденко, словно призывая его на помощь.

Дальше список преступлений Берии читал Руден-

ко. В первой, "политической" части было сказано, что Берия:

1. пытался захватить власть с помощью органов министерства внутренних дел;

2. с начала 20-х годов сотрудничал с грузинскими меньшевиками в борьбе против советской власти;

3. через посредство меньшевиков вступил в сношения с англичанами и стал шпионом на их содержании;

4. против воли большинства членов Политбюро стремился продать Германскую Демократическую Республику Западной Германии и с этой целью предпринял ряд тайных враждебных действий.

Когда чтение обвинительного заключения закончилось, в зале поднялся шум, вице-председатель Шверник несколько раз постучал по столу, требуя тишины. Хотя "публика" в зале была самая избранная и послушная, видимо, и она ожидала, что обвинен Берия, "меч революции", будет прежде всего за незаконные аресты, убийства и пытки... Но очень скоро опять водворилась тишина.

Затем Руденко стал читать вторую часть обвинительного заключения. Речь тут шла об аморальной жизни, которую вел Берия. Он купался в роскоши, он построил себе над Терекком дворец, где в одной из зал был стеклянный пол, так что посетители видели, как под стеклом несутся бурные воды...

Здесь происходили оргии Берии и его присных со специально привозимыми красотками; пошли жалобы жертв садизма и насилия... По показаниям двух милиционеров, во дворе одной из бериевских дач был найден труп девочки, исколотой ножами... Берия слушал все это совершенно спокойно.

В деле Берии сохранилось более двухсот заявлений от жертв "сексуальных развлечений" первого

гебешника страны. Почти все заявления кончались словами: "До сих пор я не смела никому об этом рассказывать, или жаловаться, потому что..."

Сохранился и письменный ответ Берии на эти обвинения:

"Я никогда не применял насилия по отношению к этим девушкам и женщинам. Они приходили или сами — кандидаток были сотни! — или их присылали их мужья, родители, родственники... Они забегали вперед, чтобы получить продвижение по службе..."

Я не только ни разу не ударил ни одной из них, но каждая получала от меня дорогой подарок, золотую монету или драгоценность на память".

Прокурор закончил чтение. Наступила тишина. Раздался голос Берии: "Все это глупости... обыкновенные глупости! — Он повернулся к Коневу и Москаленко, повысил голос: — Если бы я захотел рассказать о каждом из вас, да и о товарищах из правительства, то мог бы рассказать куда больше... да и куда интереснее".

Москаленко крикнул: "Молчать, обвиняемый! Будете говорить, когда вам дадут слово!"

Судья Громов приказал обвиняемому встать и сказать, признает ли он себя виновным.

Берия спокойно встал, повернул голову к залу, улыбнулся и громко сказал: "Нет, не признаю".

Суд продолжался весь день. В конце дня обвиняемому дали последнее слово. У него было достаточно времени чтобы подготовить свою последнюю речь. По-прежнему держась спокойно, Берия объявил, что невиновен, что обвинение сфабриковано от начала до конца, что некоторые пункты просто смешны, и закончил словами:

"С ранней юности я был преданным и искренним коммунистом. Им я и останусь на всю жизнь. Все,

что я сделал в жизни, — а история покажет, что я сделал много, добросовестно и серьезно, — я сделал для нашего могучего Советского Союза, для его победы, его успехов и укрепления!.. Я прекрасно знаю, что приговор вынесен уже давно, но я умираю со спокойной совестью и с мыслью, что всегда был предан партии. Умираю как один из ее достойных членов, с возгласом: "Слава мощи Советского Союза!"

Его не перебивали. В зале царил мертвая тишина. Берия сел, посмотрел на зал и что-то вроде улыбки показалось на его лице. Словно он хотел сказать: "Какая комедия!.. Я все это знаю куда лучше, чем вы..."

По официальному сообщению ТАСС приговор был приведен в исполнение 23 декабря 1953 года.

* * *

По-видимому, с самого 1952 года Берия был обречен. Немилость Сталина, которую он распознал, не была плодом его воображения: члены Политбюро тоже ее почувствовали и с нетерпением ожидали, когда она грянет. И тут наступил март 1953 года: Берия, единственный, кто не растерялся и сохранил присутствие духа, увез архив, заключил союз с Маленковым и на некоторое время действительно возглавил политику страны, вероятно считая себя в безопасности.

Между тем, после освобождения врачей в лагерях Советского Союза люди ожидали падения Берии. Было понятно, что Рюмин — слишком незначительная фигура, чтобы взвалить на него все преступления сталинской эры. Вероятно, менее всех удивлены — и более всех обрадованы арестом Берии — были

советские люди за колючей проволокой.

И все-таки можно считать, что Берия повезло. Его не били, не пытали, не ломали ему кости, как дельвали это его собственные молодцы. Он пришел в суд при галстукe — неслыханная вещь! Ведь у заключенного галстук отбирают даже раньше, чем пояс от брюк, чем шнурки от ботинок.

Он смог произнести свое хорошо отрепетированное, романтическое "Умираю коммунистом!" спокойным голосом. Ему даже разрешена была бутылка водки ежедневно!

Он был образованнее, вероятно — и умнее, и интеллигентнее прочих сотрудников Сталина. У него было даже некоторое остроумие — во всяком случае, в тесном кружке сталинских подручных он считался "душой общества". Он даже коллекционировал анекдоты, вписывая их мелким почерком в свою переплетенную в кожу записную книжку. Среди них такой: "Правда ли, что товарищ Берия собирает анекдоты? — Правда, но он еще и подбирает тех, кто их рассказывает". Эти анекдоты, с предисловием немецкого журналиста Лауба, были изданы на Западе.

Вероятно, на совести у каждого из членов Президиума, мирных бюрократов сталинской когорты, было не меньше преступлений против человечности, чем у него. И он это знал.

Однако стоит вспомнить, что числилось непосредственно за Берией — по Конквесту:

"...Берия консолидировал карательную систему, сделал ее как бы нормальным и обычным инструментом".

Уже при нем, в 39 году, произошли аресты "последнего призыва". Тут погибли Мейерхольд, Кольцов, Бабель, многие участники гражданской войны в

Испании, Косиор, Чубарь, Косарев "после длительных пыток, по поводу которых следователь получил подробные инструкции от Берии", Постышев (с сыном), маршал Егоров, командарм Алкснис, Эйхе с женой, Бубнов, Крыленко, Сулимов...

К 1953 году число бериевских крепостных — заключенных — определялось уже не в 7 (цифра на 1939 год, которую он сам давал в своих показаниях), а в 11-12 миллионов человек. И это — уцелевшие.

А кто, когда, как подсчитает погибших?

Берия — создатель заградотрядов в 1942 году. Берия — автор доктрины, согласно которой "только предатели, шпионы и враги Советского Союза могли сдаваться в плен фашистам". В 53-м году Жуков кричал Маленкову и Ворошилову: "Знаете ли вы, что из миллиона семисот тысяч наших военнопленных, которые вернулись живыми, вы убили более миллиона?"

Убивали вместе. Но автор доктрины — Берия, а практические выводы делали его молодцы, подводительством той партии, которой Берия, по его словам, был достойным членом.

ВРЕМЯ НАДЕЖД

Наш лагерь — Средне-Белая, Хабаровский край — был на несколько часовых поясов впереди Москвы. И у нас было радио — так что мы слышали, вставая, нежный голос московской дикторши, желавший нам спокойной ночи. Утренних передач мы, естественно, не слышали — у нас был самый разгар рабочего дня; зато дневные, при желании, могли слушать сколько угодно — радио в бараке не выключалось. Только никто к ним особенно не прислушивался. Во-первых, было не до них — очень уставали за день, хотя работа в ту зиму была не такая уж тяжелая: мы стеклили рамы для парников. На сельхозах — т. е. в сельскохозяйственных лагерях — зимой работ мало: снегозадержание, — милая работа, чистая и разумная: мы делали надолбы из снега, чтобы ветер не сдувал снег с полей. Снегу на Дальнем Востоке мало, ветры дули по равнине исправно, а мороз держался, никогда не поднимался выше 30 градусов Цельсия; и чтобы не промерзала земля сверху — а под ней на километры и километры вширь и вглубь лежала вечная мерзлота — надо было ее укутывать. Посылали долбить силосные ямы — открывать сбереженный корм для скота: мы долбили кирками, открывали, потом кирками же снимали верхний слой силоса, от запаха которого можно было упасть в обморок — и падали. Делали торфо-перегнойные горшочки — для того, чтобы весной капусту сажать: тогда был открыт новый

способ посадки, квадратно-гнездовой. Плели корзины — лозу для корзин за зоной рубила самая сильная бригада, молодежная. И вот — рамы стеклили. Не на морозе к нашему удовольствию — в тепле. На морозе оставалась только Тося Мелентьева — ее недавно разжаловали из хлебрезок, и она варила гудрон. Гудроном мы обмазывали пазы в рамах, когда удавалось вставить туда стекло — оно в наших неловких руках билось как птица и разбивалось в пыль...

И все-таки зима — не лето: и рабочий день короче, и работаешь не в наклонку, как на прополке или на сборе картошки, и выспаться можно.

В тот вечер в зону привезли кино — его в столовой показывали. Кажется, то было "Взятие Берлина" — его к нам в зону почему-то особенно часто завозили. Там показывали, главным образом, Геловани в роли Сталина. А может, то была "Клятва", тоже с Геловани — как Сталин клятву у гроба Ленина давал... Кино не запомнилось. Но когда мы выходили с сеанса, увидели — на протоптанной к столовой снежной тропке стоит Гжицкая. Вот с этой минуты все и началось. Все помнят такие минуты своей жизни — как помнят, например, где кого застала война. Минуты, когда тебе возвестили о переломе эпохи.

Гжицкая — так ее почему-то все звали, Гжицкая, по фамилии — была вдова украинского писателя, который загремел еще в 1937 году. Загремел — это не "прогремел"; это значит попал в тюрьму, во всяком случае тогда значило; потом это уже могло значить — уволили, прогнали, исключили — в неровные, но мягкие, в общем, Хрущевские времена.

Сама же Гжицкая села сравнительно недавно — в 49 году, когда стали подбирать тех "ЧСИ" —

”членов семьи изменника родины”, которым каким-то образом удалось ускользнуть в тридцать седьмом. Она была, конечно, старший возраст, нерабочий, лет под шестьдесят, но держалась дамой. И стояла на снегу не в валенках, а в туфлях на каблуках и ждала нас всех — никого в отдельности. Мы выходили толпой и от нее услышали:

— ...Только что по радио... Сталин заболел, удар...

И мы испугались. Чего испугались? Да того, что она говорит об этом вслух. За такое — немислимое! — сопряжение смыслов ”Сталин и смерть”, за богохульный силлогизм ”Кай — человек, и, следовательно...” могли дать статью ”террор” — и давали. Через семнадцать — т. е. ”пособничество”. Не через девятнадцать — ”замышлявшийся террор” — нет, именно через семнадцать: ”ПОСОБНИЧЕСТВО”. Мистическое судопроизводство сороковых годов нашего века.

И тон у нее, у Гжицкой, был какой-то — озабоченный, но спокойный. Возвещался конец эпохи — и вот этим киевским-дамским, светским тоном?

Кто-то сказал: да бросьте вы, Гжицкая, охота вам повторять... — Т. е. себя и ее спасали, успокаивали, страховали этими словами. Но не унять было Гжицкую:

— Порadio... ПОРАДИО... Сама, я сама слышала...

— Бог даст, поправится еще, — вздохнул кто-то благоразумно.

— Ну, конечно... Там знаешь какие врачи...

И осеклась — та, что про врачей. Все знали про убийц в белых халатах. За месяц перед тем появилась у нас еврейка-Мая — врач. Срок обычный — десять лет. Наша заключенная, доктор Ворончихина по правилам профессиональной солидарности хотела взять ее к себе в санчасть. Начальство не позво-

лило. Мая стеклила с нами рамы, своими цыплячьими, не окрепшими после тюрьмы руками.

И мы побрели в барак. Там уже дневальные ходили с торжественными лицами — слышали. Из тарелки репродуктора лилась классическая музыка.

Этой музыкой заливали народное горе еще два дня. Она чередовалась с сообщениями. Сообщение "кровь в моче" уже не оставляло сомнений: у живого бога мочи не бывает. А что такое дыхание Чейнз-Стокса? Я тихонько спросила Ирину — она была биолог — и она объяснила: "это, когда уже... когда уже..." Все шло своим путем, все уже вышло на завершающую прямую, к месту встречи всего живого. И 5 марта траурный Левитановский баритон объявил, наконец, число, час, минуты... Умер. Бригадир десятилетников, Аннушка С. (58 1-А, измена родине, словом — за немцев) бурно зарыдала.

В эти дни бригады за зону не выводили.

Пришел надзиратель, печальный, но деловитый: "женщины, кто умеет бумажные цветы делать? Для траурного собрания надо". Нашлись умельцы, им принесли цветную бумагу. Они крутили бумажные цветы — и смахивали слезы. Остальные держались тихо, но глаза влажнели у всех — у десятилетников, у двадцатипятилетников. Да и у меня, и у Ирины... Только старуха, Мышавец, которую считали чокнутой, открыто ликовала и выкрикала с верхних нар звонким голосом: Да что вы, женщины? Вы что, сбесились? И хохотала, пока кто-то не стукнул, и за ней пришел надзиратель и увел в карцер. Всем стало легче. И все плакали — и во время траурного митинга на Красной площади в Москве, который, конечно же, транслировался на весь мир, и на траурном митинге в КВЧ — наши цветы, свитые в венки, стояли под портретом, всю жизнь знакомым.

О чем мы плакали? Вероятно, — "по Станиславскому" — о себе. Журналист Лобов рассказывал, что Жуков в те дни — спешил — неся — летел из почетной своей ссылки в Москву. И на аэродроме, ожидая самолета, плакал слезами:

— Только бы он меня простил!

И слезы застывали на его толстом лице.

По-русски: проститься — значит, прощенья испросить.

Мы-то с ним не прощались. С собой, со своей прежней жизнью — все было при нем, при нем.

В Колымском лагере, где был мой муж, слез не было. Мужики там были — долгосрочники, 25-летники, прошедшие войну, привыкшие к смерти. Они откровенно радовались.

Шли дни, газеты распухали от рыдающих статей. Заголовки вопили. "Гений всех времен и народов". "Вождь народов, учитель человечества".

И мы гадали: а что дальше? Ну, "учитель человечества". Ну, гений. Что же дальше-то будет? Уже и суперлативов не осталось.

А дальше не было ничего. Это была последняя статья — Фадеевская, кажется. Дальше перешли к очередным делам. Привыкали без гения. И мы привыкали. Нас уже стали выводить на работу: поплакали — и будя! И мы уже спрашивали друг друга, непривычно для самих себя: а с нами-то что? Все сходились в одном: сейчас эти, новые, должны "дать лощанского народу". "Дать лощанского, лощить" — по-лагерному значит угождать, льстить, подольщаться. Т. е. — дать амнистию. Но какую? Кому?

Как-то в зоне ко мне подошла пожилая женщина, из инвалидов — в прошлом редактор какой-то дальневосточной газеты. Сидела она за партийное вольномыслие: Англия, по ее мнению, слишком долго не

открывала второго фронта. И тогда она, эта редакторша, поместила в газете остерегающую передовицу, в которой разоблачала коварный Альбион и в частности Черчилля, старого врага Советского Союза. И оказалась за свою неуместную и несвоевременную бдительность здесь, на Средне-Белой, где уже заканчивала десятилетний срок. Состарилась, заинвалидилась, но сохранила неукротимый дух.

— Как вы думаете, можем мы чего-нибудь ожидать теперь?

— Лощанского народу дадут, наверняка.

— Ну — это ясно. Но мы-то с вами попадем в народ, или нет? Вот ведь что интересно.

— Думаю — нет.

— И я думаю — нет. А указники?

— Может, им что и отломится. Не думаю, чтобы много.

— Да, не слишком вы оптимистичны. Ну, а потом? Мы переглянулись.

— Кто знает?

Заключенный начинает ждать амнистии с той минуты, когда после суда попадает в общую камеру. В этой общей камере, где ждут отправки в пересыльную тюрьму, живет преемственность, — годами, десятилетиями живет, потому что никогда не отправляют всех сразу. И так доходит до новеньких дивная байка о "белом флаге", который однажды вывесили над тюрьмой — никого не осталось. Когда это было — никто не знает, но было! (Думаю, что то были смутные воспоминания об амнистии 1927 года, действительно — широкой, широчайшей).

Но была еще одна — амнистия не амнистия, а указ, который в лагерях был известен как указ о мамочках. Раз в два года, обычно весной, выходил такой указ: освободить матерей с детьми (в лагере

в те времена рожали) и тех, у кого дети на воле. Возраст детей от указа к указу менялся: то до трех лет, то до семи... Но не на всех матерей распространялся этот указ. Он не касался "особо тяжелых преступлений". Разумеется, пятьдесят восьмая — даже болтовня с соседкой с выражением недовольства — вся без изъятия входила в эти "особо тяжелые". И бандитизм — пятьдесят девятая статья: обычно у женщин эту статью имели западные украинки и прибалты — те, кто носил в леса еду своим партизанам, или не настучал на них. И те, кого осудили по закону от 7 августа 1932 года — в лагере говорили: "от седьмого восьмого". И еще "не подлежали" те, кто попался на крупных хищениях — их судили по "Указу, часть вторая": обычно это были торговые работники и бухгалтеры.

И раз в два года, когда счастливицы уходили домой "по мамочкам", мы, "не подлежащие", старались провожать их по-доброму: они ж не виноваты, что им счастье привалило. По ночам плакали, днем ходили злые, собачились друг с другом, с надзирателями, с конвоем — но проводить старались чин-по-чину, добра пожелать.

В самом начале марта я ни с того ни с сего взялась вышивать какую-то тряпочку "ришелье", впервые в жизни. Кто-то из украинок увидел, ахнул:

— Руфа вышиваете! Ну, амнистия буде!

Так всегда говорилось, если кто-нибудь начинал вести себя необычно. Но после первых сообщений о болезни Сталина к моей вышивке стали относиться неожиданно-серьезно: подходили, смотрели, давали советы. И после 5 марта стали требовать:

— Ты шей, Руфа, шей, — кричали мне с разных нар, если я бралась за книжку.

Я чувствовала себя Эльзой, сестрой белых лебедей: надо было спешить.

Амнистию возвестила Вера Анушкевич (Белоруссия, 58-10, 10 лет), услышала по радио в соседнем бараке. "Всем до пяти лет!" — кричала она, всегда флегматичная, плача и задыхаясь. — "А у кого же пять лет? У одной Карелиной, из всех!"

— А мамочки, мамочки?

— И мамочки — у кого дети до четырнадцати. Но кроме особо-тяжелых...

В общем — опять мимо. Все как всегда. Никогда ничего пятьдесят восьмой не было, чего уж тут.

Ушли бытовички, ушли рецидивистки. Я свое рিশелье к тому времени кончила. Ну что ж, — говорили рассудительно, — бытовикам все-таки амнистию вышила! Ты давай, Руфа, вышивай что потруднее. Филейку вышивай!

И даже чистую тряпочку дали — для вышивки. Я взялась за нее через месяц; потом бросила; потом опять взялась. И закончила ее в 54-м году — работа была кропотливая. Эта тряпочка и сейчас у меня.

А в тот вечер, когда была объявлена амнистия, по радио передавали романс Чайковского на слова Алексея Толстого: "Благословляю вас, леса"... Мы поняли, что это для тех, кто пойдет на волю.

А мы воли — боялись. Мечтали, звали, ждали — и боялись.

У всех у нас было "по рогам" — поражение в правах, как правило — на пять лет. Это означало, что в больших городах нам жить нельзя (среди нас было много горожанок): поражение в правах непременно подразумевало "минус"; минус — это те города, в которых нельзя жить: минус пять, минус двадцать, минус сто... Обычно возвращающиеся се-

лились на "сто первом километре" — от того города, где они жили прежде. Ближе не имели права. Мы помнили, как в конце сороковых годов (когда вернулись посаженные в тридцать седьмом) этот "сто первый километр" стал неводом, полным рыбы, который только и ждал рыбаков из госбезопасности.

В лагере — без забот. Накормлен, как говорили у нас, по норме, одет по сезону, на работу ведут, с работы провожают. Веселая украинка (западная), бывало, спрашивала: "бабоньки, чего сумные? Что у вас — дети по лавкам плачут? Или корова недонена?" Такой горький юмор.

А "на воле" — как жить? Куда трудоустроят? Гроши получать, дрова доставать, да раз в месяц, а то и чаще — ходи, отмечайся в милицию. И всем ты чужая, и всем подозрительная, и все на тебя стучат... Странная воля. Освобождали после срока, как крестьян в Великую реформу — без земли. Наша земля — это был наш дом, где дети, где стены иногда все-таки помогают, где есть спрос даже на интеллигентный труд, если уж ничего другого ты не умеешь.

Колхозницам, правда, разрешали вернуться домой. И они радовались. Но и они, и дома, были меченые. И вечно голодные.

А в лагере, худо ли, хорошо ли — кормят.

Надо сказать, что в лагерях в те годы не голодали — во всяком случае, в тех, где я была. Конечно, хлеб на столе, как в шарагах, не лежал, но работягам выдавалось 800 грамм исправно. Разнослов тоже не было: утром чай, хлеб и 12 грамм сахару на день; в обед — баланда (суп из круп) и каша, обычно перловая, чуть подмазанная постным маслом; на ужин — то же, плюс чай. Посылки разрешались — сколько угодно. И, после того, как

введен был хозрасчет (т. е. оплата подневольного нашего труда), у заключенных даже деньги появились, и в ларьке можно было купить белый хлеб, масло сливочное, конфеты-подушечки... Это уж после того шума, который подняли Элеонора Рузвельт и Герберт Моррисон — после книги Кравченко "Я выбрал свободу".

Но точно так же, как и в тридцатые годы, нас вдруг, без всякого предупреждения, перебрасывали — неизвестно почему — за многие сотни, а то и тысячи километров, в другие лагеря. Сибирь большая. Точно так же освобождающиеся должны были давать подписку — что ничего и нигде и никому о лагерях рассказывать не будут. "Личных свиданий" — т. е. свиданий на сутки, с ночевкой, нам не полагалось, даже если находились отчаянные головы, которые приезжали на такое свидание к жене, к мужу, к сестре с запада на восток, с юга на север нашей необъятной родины.

Ничто не менялось. Правда, старые "тюремщицы" — женщины не говорили "зэки" — вспоминали голодные военные годы: "теперь что! Баланды сколько хочешь нальют! А тогда"... Но баланда оставалась баландой, только крупы в ней было больше.

Лагерная жизнь текла от звонка до звонка — десятки лет.

* * *

Близилось шестое апреля, моя горькая годовщина: четыре года. Я ее не отмечала, но помнила, тем более, что 6 апреля страшно далекого пятьдесят девятого года мне предстояло освобождение. Но кто туда заглядывает на пятом году. А 4-го апреля была пасха — не русская, западная. Потом я узна-

ла: и еврейская тоже. Но евреек у нас в бараке не было; их и всего то в лагере было три, или четыре, меня считая. Наши латышки сидели в своем закутке и чем-то разговлялись к празднику. Мы же — кто что, был вечер, ужин уже прошел. Радио что-то лепетало, никто не слушал. И тут грянуло: сообщение Министерства Внутренних Дел СССР. О врачах. Об убийцах в белых халатах.

Я съежилась, скорчилась, и с ужасом стала ждать: "приведен в исполнение". Все советские люди знали наизусть застывшие, как гудрон на морозе, окаменевшие блоки: "вину свою признали полностью... за преступления, не совместимые с ... за, за, за... к высшей мере наказания — расстрелу". И всегда, в том же номере газеты — приговор приведен в исполнение.

Я сидела совсем одна за столом — писала письмо. Валя, с которой мы "вместе кушали" (значит, всем делились — лагерная терминология для дружбы) сидела в нашем закутке и беседовала с докторшей Ворончихиной. Ирина — ленинградка с немецко-шведской фамилией, интеллигентка, с которой обо всем можно было разговаривать (измена родине, 25 лет), спала на своих верхних нарах, ее нельзя было будить — что-то у нее было вроде бессонницы, редкой в лагерях. Была еще Валентина Николаевна — в другом бараке, тоже ленинградка, тоже интеллигентка: в январе она, несколько для меня неожиданно, приняла сообщение об аресте врачей с ликованием: "Ну, наконец-то! Наконец-то и они поняли!" — Вы что, Валентина Николаевна? Вы думаете?.. — Ну, конечно! Господи, что тут думать! Всем ясно! "Сионские мудрецы", они всем командовали...

Между прочим, она сама была дочь врача — окулиста.

В общем, я сидела, у всех на виду — если кто смотрел — и слушала, и, кажется, все прислушались: тихо было в бараке. Падали каменные слово-блоки. Одно слово в самом начале было непривычное какое-то: "Проверка". Министерство внутренних дел СССР провело тщательную проверку, — но не задело, или, может, чуть задело, привычно-горько: проверили, как же... Дальше все, как всегда: обвиненных во вредительстве (ох), шпионаже (ох), и террористических действиях...

Пятьдесят восемь шесть, пятьдесят восемь семь, пятьдесят восемь восемь...

Пошли фамилии — пятнадцать фамилий с инициалами... Сколько это заняло? Минуту? Полторы? Сейчас мне чудится — Левитан читал, его медный с бархатом голос. Но может быть и нет. Долго, мучительно долго перечислялись фамилии, а звуковой окраски вспомнить не могу: сознание как бы опережало слух.

— Майоров Г. И. ...И вдруг пошли совершенно неузнаваемые слова. ...были арестованы НЕПРАВИЛЬНО, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЙ.

Слово НЕПРАВИЛЬНО диктор выделил — наверное, оно у него было крупно напечатано, для выделения, в разрядку. После этого неслыханного, в таком соединении слова я вскочила, кинулась к своей вагонке, рядом:

— Валя, ты слышишь?

— Слышу.

А слова шли: обвинения... являются ЛОЖНЫМИ... данные... НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМИ... И — то самое, знаменитое, что потом годами повторялось — применение НЕДОПУСТИМЫХ И СТРОЖАЙШЕ ЗА-

ПРЕЩЕННЫХ СОВЕТСКИМИ ЗАКОНАМИ ПРИЕМОМ СЛЕДСТВИЯ.

А пока дошло до этих недозволенных приемов — сколько было невероятных слов, немыслимых словосочетаний. Пока разморозилась кровь в жилах — может, я чего-то не расслышала, пропустила, не поняла?

...Полностью реабилитированы... из под стражи освобождены... виновные в неправильном ведении следствия арестованы...

— Валя, ты понимаешь? Валя!

Она не понимала. Чужое освобождение опять отозвалось в ней только болью: а я-то? Десятый год разменяла. И за что?

Валя сидела по закону от седьмого-восьмого плюс пятьдесят восемь десять (антисоветская агитация). Плюс она заработала в лагере — за то, что когда освобождали мамочек после войны, вскрикнула: а у нас что, дети — щенята? Срок ей не добавили — но освобождению она не подлежала вдвойне. И так и отсидела — от звонка до звонка.

Она была справедливая — качество редкое вообще, а в то время, да еще в лагере, — и вовсе. В Райчихинском лагере, где мы встретились, она работала завстоловой — много лет! И никто о ней никогда не сказал худого слова. Одно говорили: хорошая женщина, переживательная. Переживательная — значит, сострадательная. Умела слушать, умела и посоветовать. В нашем очень маленьком и наглядном мире безошибочно различала добро и зло, не на абстрактном уровне, а на сиюминутном, что много сложнее.

И вот тут она ответила неохотно: слышу, слышу.

Я поняла, что это у нее: "опять других, не меня". поймет, если объяснить. Но мне сочувствие

нужно было сейчас же, немедленно. Я разбудила Ирину — тронула снизу ее ноги. Она села, щурясь; я сказала: врачей освободили. И я увидела, чего никогда не видала прежде: она перекрестилась. Я ей все пересказала. Она только повторяла: слава Тебе, Господи!

Потом меня позвали в закуток к латышкам. Поздравляли. Я сказала, сама еще не очень веря: — это всем нам, всем... — Вы думаете? — серьезно спросила одна. — Как-то не верится еще...

А мне уже верилось.

Вероятно, я немножко металась по бараку — чтобы все поняли, чтобы узнали, если не прислушались. И услышала, как Валя с тихой злобой говорит Ворончихиной: — Эта Руфь Александровна со своими евреями, как с ума сошла все равно!

Древняя змейка во мне приподняла ядовитую головку, куснула: — а, значит, вот она какая! Но я знала: неправда. И вернулась в свой закуток, и стала толковать Вале свое непонятное поведение: — Для всех, понимаешь? Ведь такого никогда не было! Ну, вот, ты десять лет сидишь — скажи, было когда-нибудь?

И уже она слушала, как всегда слушала, внимательно и готовно. А я ей тогда, в тот же вечер, сказала:

— Только не сразу. Рюмин — это пешка. Теперь надо ждать, когда его хозяина прогонят. Берию.

— Руфь Александровна, а вы думаете — прогонят?

— Обязательно.

И несколько месяцев — до самого июля — Валя ждала. Поверила мне. И иногда говорила мечтательно: хотелось бы мне опять веночек сплести. И чуть-чуть подмигивала. — На свои бы деньги бумага цветной купила бы.

И я тоже ждала — как будто мне кто-нибудь обещал.

Откуда такая прозорливость? Да из книжек, откуда еще? Хотя нас товарищ Сталин учил, что исторические аналогии опасны (ему ли не знать, до чего они опасны, когда он сам именно в этих категориях мыслил!), но у нас-то ничего кроме аналогий не было. Не было личного опыта; не было иностранных газет (как и сейчас их там нет), не было вдумчивого русского "би-би-си", не было людей "оттуда". Но книги — классики и не классики — просто книги! — открывали удивительные вещи. Благодаря Анатолию Франсу те, кто тогда перечитывал "Боги жаждут" узнали в лицо тридцать седьмой год; благодаря Ключевскому стали, после визита Риббентропа, ожидать четвертого раздела Польши; благодаря самым обычным учебникам истории поняли, что теперь кого-нибудь непременно надо будет обвинить во всех грехах и тут сразу возник в уме Берия, как не последняя, но неминуемая жертва.

Вот мы и ждали.

* * *

Жизнь лагерная шла как по-прежнему — с периодическими сотрясениями: то вдруг угнали на этап, в Озерлаг, в Красноярский край, нескольких наших бригадниц, в том числе подругу Ирины, молоденькую кореянку из Алдана (пятьдесят восемь-восемь, т. е. "террор" — школьная организация "Союз друзей свободы"); то прислали с воли двух новеньких с двадцатипятилетними сроками (обе учительницы, обе "за немцев"), и мы их жадно расспрашивали... А между тем, те, кого посадили "за немцев" в 1943 году, когда началось контрнаступление Советской армии, стали уходить одна за другой: от звонка до

звонка отбыли десятилетний свой срок. Тогда еще двадцатипятилетнего срока не давали: или расстрел, или десятка. Потом расстрел ненадолго отменили, заменили двадцатью пятью годами (тут мой муж как раз свой срок и получил). Но очень скоро расстрел ввели снова — однако двадцатипятилетний срок оставили.

В апреле нас перевели на другой лагпункт. После амнистии лагерь наш подтаял — ушли уголовники, ушло немало бытовиков — и число лагпунктов стало сокращаться.

Валя вздыхала: "может, не придется?" — "Чего не придется?" — "Ну, веночек исплесть". — "Придется, нельзя иначе".

Шли дни, недели, месяцы. И в один прекрасный июльский день радио — сообщило об аресте Берии. Валя была в поле, с бригадой, а я оставалась в зоне — мне доверили разбирать библиотеку, вот какие настали времена! Библиотека на этом лагпункте была поразительная. Раньше тут были мужчины — и какой-то старичок-инвалид — библиотекарь вырезал из журналов то, что ему нравилось, и переплетал. И вкус у старичка был: он переплел "За правое дело" Гроссмана (это первая часть романа, который вышел теперь на Западе под названием "Жизнь и судьба"), и Казакевича, причем именно осужденные критикой "Двое в степи", и Панову... В общем, я с удовольствием разбирала библиотеку — и тут услышала долгожданное сообщение. А Валя узнала о нем в поле — и от самых ворот, задыхаясь, бежала мне навстречу, плача от радости.

На следующий день моя кантовка в зоне кончилась и я вышла в поле, на прополку свеклы. В полдень нам привезли обед — и начальника Культурно-вос-

питательной части, сокращенно КВЧ: на каждом лагпункте полагалось иметь такое. Фамилия нашего КВЧ была Колядко. Видимо, ему приказали провести беседу, политинформацию. Колядко был фронтовик, войну окончил старшим лейтенантом, с орденом Красной звезды. Как его закинуло в женский лагерь, да еще в КВЧ? Последние месяцы он был сам не свой: освобождение врачей его подкосило. Поверить в их невиновность он не мог — душа не принимала. Откупилась? Так считали в мужском лагере на Колыме, где был мой муж.

Но в это поверить он не смел. Хорошо бы вредительство. Но кто же вредители? Все — соратники Сталина. Колядко похудел за эти месяцы. Он привык исполнять, а не сомневаться. А тут хоть и объяснили, но — страшно сказать! — не верится.

Разоблачение Берии и для него было праздником. Наконец-то найден вредитель!

Он подсел ко мне, когда я ела свою баланду, показал мне газету, и сказал, доверительно-убежденно: "Теперь опять поплывут эти врачи-и-и"...

Он это чуть что не пропел. В душе у него, наверное, соловьи щелкали. Найден вредитель, теперь опять посадят врачей, линия партии будет снова выпрямлена и все пойдет по-старому.

Я позволила себе с ним не согласиться, сказала "вряд ли!" Он вскипел: "Обязательно посадят, обязательно. А как же вы думали?" Он только что обрел душевный покой, наверное, даже гордился втайне своими трехмесячными терзаниями — а я тут со своими улыбочками, своими "вряд ли!" Он встал и ушел к другой бригаде.

Удивительные вещи начинались в нашей жизни.

Газеты совсем перестали упоминать товарища Сталина, словно его и не бывало. Нас это не бес-

покило — беспокоило одну только Аню С., бригадира соседней бригады, которая пуще всех оплакивала его смерть. Она даже осторожно пыталась выяснить у интеллектуальных — что бы это значило? Почему? Вот — про Ленина до сих пор пишут, что он умер, а дело его живет.

И тут приехала к нам высокая комиссия. Из самой Москвы. Из Гулага. Я помню из этой комиссии двоих — молодого и старого.

Зачем, собственно, они прибыли — не понимаю. По-видимому, у них в Гулаге решено было проявлять чуткость к заключенным. Конечно, не распустить по домам, но — проявить чуткость.

И они стали проявлять. Старый, кажется, только при сем присутствовал, а молодой был активен и оживлен. Он интересовался душевным состоянием наших артисток — вызвал меня, как руководителя лагерной самодеятельности — и спрашивал, какие у меня отношения с артистками... "Среди них есть такие, которых я называю хрупкими натурами", — сказал он озабоченно. Начальник лагеря, который при этом был, даже смутил меня: придвинул стул, предложил папиросу — словом, чудеса! "Среди них есть одаренные, не так ли?" — интересовался молодой. — Вот — Егорова! Или Крещановская!"

Обе были бытовички, обе — очень талантливые.

— Вот-вот! Вот вы говорите — талантливые. Это значит, с ними надо о-о-очень бережно! Талант надо беречь! — поучал он меня. — Ну, оступились, понесли наказание, — но мы совсем не считаем их погибшими для советского общества! Напротив...

Вдруг у него наступило просияние ума. Он замолчал. Потом сказал:

— Вот, у вас пятьдесят восемь-десять, но мы и вас не считаем, что вы это, для общества...

Я тоже не считала и так и ушла, не поняв, чего он, собственно, добивается. Поняла одно — теплеет!

В воскресенье днем опять произошло небывалое: к нам приехали вольные артисты! Из самого Благовещенска! Концертная бригада: певица, тенор и представитель "оригинального жанра", как это называлось в Советском Союзе, а попросту — жонглер. В бараках не осталось никого — все набились в столовую, которая служила и театральным залом. Танцор плясал что-то несусветное, с идеологическим названием "их нравы", жонглер вдохновенно ловил тарелки, а певица — молоденькая девушка в небесно-голубом платье нежно спела тогдашние шлягеры на слова Ошанина. Все они имели бурный успех, и певица даже исторгла слезы, когда спела песенку про седые прядки нашей первой учительницы и как мы ее никогда не забудем.

А на следующий день — опять небывалое: нас послали с концертом на мужской лагпункт. Нас, женщин — на мужской лагпункт! Члены комиссии прибыли туда еще раньше нас. И молодой — все тот же молодой — попросил у меня программу концерта, утвержденную, разумеется нашим начальником КВЧ, гражданином Колядко. Там было все, как полагалось: хор, начинавший с очередной песни о Сталине, частушки, пляски, скетчи и — стихи о Сталине, которые читала, разумеется, Аннушка С. Посмотрел-посмотрел, вынул самописку, вычеркнул два названия — "это не нужно, и это не нужно", и вернул мне. Он вычеркнул и песню о Сталине, и стихи.

Хор на сцене пел лирическое "Чорни очи, як терень", за кулисами рыдала Аннушка С., а зал принимал артистов так, как, наверное, никогда не принимали ни Уланову, ни Русланову.

В бараке Аннушка, улучив время, когда я сидела одна в своем закутке, подошла и спросила негромко:

— Руфа, что случилось? Он что — оказался вредитель? Заодно с Берией? В чем дело? И газеты ничего не пишут...

Она была в смятении, и ждала руководящих указаний. А их не было.

Еще через некоторое время ко мне в библиотеку появился начальник калибром поменьше. В звании подполковника. Не из Гулага, но из области. Мы его давно знали, он появлялся раза два в год, ходил по баракам, задавал обязательный вопрос: "Клопы есть?" Клопов не было, и он уходил удовлетворенный.

После одного из таких его приездов как раз и приказанно было не ставить в сан-часть еврейку Маю. Выглядел он внушительно; седая грива, волевое лицо, хороший рост... Этаким советский Джон Вэйн. Никогда раньше он ко мне в библиотеку не заходил — клопов там искать было нечего.

— Ну как, работаете?

Библиотекарем мне, как пятьдесят восьмой, работать не разрешалось. Идеологический фронт, — книжки. Литература.

— Да нет, гражданин начальник, просто подменила...

— А я вот на пенсию ухожу, — он встал против меня, стиснув челюсти и сдвинув брови.

— Что так?

Я видела, что он в тоске и бешенстве — только что зубами не скрипит.

— Новые люди!.. — он хохотнул с ненавистью. — Мо-лодежь! Дорогу молодым. Я не могу с этими... с новыми...

И вдруг, разъярясь:

— Я чекист, понимаете? Я чекист!

— Понимаю, — сказала я.

— Вот, вы понимаете... А они... Разве они могут понять? Ну, что ж... Пусть... Посмотрим!.. Посмотрим!

И ушел, шагами командора.

Дневников мы тогда не вели, разумеется. Поэтому — не помню, в точности, когда это было: помню — еще было тепло. В августе, вероятно. Но слова его помню точно.

На нашем лагпункте — на этом, последнем, — партийных почти не было. И прежде они мне попадались негусто, — да и то, в основном, те, кого подбирали по старым делам: повторницы 37-го года и те, немногие, кому во времена великих чисток удалось пришипиться незаметно, главным образом "ЧСИР" — члены семьи изменников родины. Тут у нас была та редакторша, пострадавшая за непримиримость к Черчиллю и еще одна — по "Ленинградскому делу". Мы не знали подробностей, статья у нее была скромная — пятьдесят восемь-десять. Но срок — двадцать пять лет. Т. е., вторая часть этой многообъемлющей статьи, антисоветская агитация во время войны или, как у моего мужа, "с использованием национальных или религиозных" или еще каких-нибудь "предрассудков." Но вряд ли были у нее предрассудки национальные или, тем более, религиозные: она была для таких вещей непрошибаема. Разве что антисемитизм? Было такое: в разгар антикосмополитической, т. е. антисемитской кампании сажали вдруг кого-то за антисемитизм. То ли те забегали вперед, то ли писали партии и правительству вразумляющие письма по пово-

ду засилья "сионских мудрецов". Я встречала такую вразумительницу, вполне интеллигентную ленинградку. Но начальство не любит, чтобы его вразумляли, вот и схватила та ленинградка десятку. За антисемитизм больше десятки не давали: антисемиты шли по первой части — без "предрассудков". А тут — двадцать пять! Скорее всего что-нибудь ей, партийке, припомнили, когда в 49 году стали сажать ленинградский обком.

Звали ее — ну, скажем, Мария Андреевна (не хочу называть настоящего имени — может, жива, и в партии восстановилась). У нас ее за глаза называли "Петр Первый" или "статуй" — крупная была, тяжелая в движениях. И еще "мы с Ждановым, мы с Кировым": о Жданове она говорила с неостывающим восторгом, а о Кирове просто пела. С "интеллигенцией" не дружила, но сплетничать о ней любила: одна, скажем, чифирит, другая курит травку... Ядовитые, в сущности, сплетни, но мы сразу узнавали автора: "Статуй"! И с ней не связывались.

В мартовские дни, когда все притихли, не очень понимая, чего ожидать, она была всех тише: буквально рта не открывала. Когда похоронили бога и стали ждать амнистии — не выступала. Ее спрашивали: а вы как думаете, Марья Андреевна? — А чего мне думать? — отвечала она. И от нее отступались. — Боится! — понимали мы. И как бы признавали за ней право бояться больше всех.

Это закончилось припадком эпилепсии — до того мы и не знали, что она эпилептик. Ей с великим трудом, концом ложки, разжали зубы — она так закусил язык, что кровь лилась у нее по подбородку.

После этого она, вроде, отошла: не скажу — повеселела, но какое-то началось в ней внутреннее оживление, отмерзание. И мы стали иногда пере-

кидываться словами, особенно после падения Берии. — Ах, негодяй! — говорила она.

Как-то, уже после приезда комиссии, когда всем стало известно, что о Сталине уже ни песен не поют, ни сказок не сказывают, встретились мы с ней за баракком случайно — в воскресенье. Забыла сказать, что нам стали давать выходные, чуть что не еженедельно.

— Вот, Марья Андреевна, как умер Сталин — и воскресенье у нас появились!

— Жаль, что раньше не придушили, — пробормотала она. Я выпучила глаза — не ожидала. Она усмехнулась, пояснила отчетливо:

— Давно надо было придушить!

Дольше всех не принимал происходящего Колядко, начальник КВЧ. До самого декабря.

А в декабре, как положено, готовился концерт по случаю дня конституции. И, конечно, стенгазета, в которой Колядко неизменно писал передовую. Он и на этот раз ее написал, под обычным названием: Сталинская конституция.

Я, не говоря ни слова, положила перед ним газету "Правда" — только что полученную. Передовица называлась: "Советская конституция".

Колядко дернул шеей, словно ему жал воротник. Зачеркнул "сталинская" и написал сверху: "советская".

В ту зиму нас выводили на работу мало: только на силос. Мы отлеживались на нарах: "день кантовки — месяц жизни!" Тут-то я и взялась опять за рукоделье. И все стали интересоваться газетами: Руфь Александровна, посмотрите, про нас там ничего нет? Про нас не было. Но газеты стали какие-то интересные: изменился тон. Словно сменили редколлегию. Война в Корее кончилась: генсеком

стал Хрущев, но Маленков, законный наследник Сталина — он и при жизни считался его наследником — был главой правительства; вместо одного гения у нас теперь было "коллективное руководство" и чуть не в каждой статье намекалось на преимущество этой формы правления. Мы с мужем писали друг другу о диадохах, — справедливо считая, что цензура не осведомлена в древней истории и о наследниках Александра Македонского не слыхивала. Мы ожидали, когда они начнут ссориться — но мы опережали события: наши чаяния сбылись только через два (?) года. Правда, мы к этому времени уже давно были на свободе.

Кстати, в тот, последний год мы стали переписываться "прямо" — из лагеря в лагерь. До этого мы переписывались "через дом": писали в Ленинград матери моего мужа, а она пересылала нам письма — с Колымы и на Колыму.

Не проходило месяца, чтобы кто-нибудь не освобождался. Освобождались кончавшие срок — в пятьдесят четвертом году для многих кончалась "десятка". Ушла в январе Тося Мелентьева, хлеборезка (Архангельск, связь с англичанином, измена родине!), за ней ушла красавица Маша Морозова (Днепропетровск, немцы, измена родине!)... Они возвращались домой, как говорится — по месту жительства, без всяких ограничений — без "минус сто" или "минус пять". И оттуда присылали в лагерь письма — никому в отдельности, просто всем. "Девочки!" — писали они. И дальше подробно: как ехала, с кем в вагоне познакомилась, и как встречали дома. У Тоси Мелентьевой была дочь — она ее не узнала, оставила малюткой, а теперь взрослая девушка, пятнадцать лет. У Маши Морозовой вскоре

после ее приезда уголовники ("Бериевская амнистия") зверски убили сестру... Весной этих уголовников амнистированных стали подбирать снова — первый такой этап появился у нас в Средне-Белой в мае месяце, из самой Москвы. Срока у них были маленькие — год-два — а загнали за десять тысяч километров. Немало от них, видно, натерпелись — еще через несколько лет рассказывали всякие ужасы, вспоминая.

Мне пришлось выдавать им лагерное обмундирование — к этому времени у меня кончилось полсрока (пять лет), и меня расконвоировали. В первый и, по-видимому, в последний раз в жизни я стала "начальством": меня поставили в вещь-каптерку и на склад. На складе (это был сарай за зоной) kamenели во льду крошечные бараньи тушки, которые я отпускала нашей завстоловой из расчета одна тушка на сорок едоков; в каптерке, где круглый год стояла зимняя температура, хранились сокровища: ботинки, валенки, бахилы (нечто вроде коротких сапог на толстой резиновой подошве), телогрейки, ватные брюки, бушлаты и разные изделия из бязи: платья, белье, простыни, полотенца, наволочки... Все это было не новое, а второго и третьего срока — но тут уже можно было проявить и власть и фантазию: обменять, скажем, свои — или чужие — вещи третьего срока на второй. Принесет кто-нибудь изодранные лохмотья, а ты ему даешь целую, крепкую, второго срока простыню. Это ценилось, особенно при освобождении. На то была добрая воля каптера — мог и не обменять. Но ботинки менять полагалось по первому же требованию — заключенные свои ноги берегли и по утрам с шести часов каптерку полагалось открывать. В самом начале своего владычества я проспала и открыла кап-

терку уже после развода. И какой же втык я получила от своей Вали!

— Руфь Александровна (она почему-то всегда звала меня по имени-отчеству, хотя я была старше ее всего на три года), как же вы могли? Ведь вы в тепле, а они (бригадники) целый день на улице. Ведь вы же (она подумала)... ведь вы же... слуга народа. Как же вы это?

Я не пыталась оправдываться — мне стало стыдно.

Наверное, тут надо объяснить, что значит "расконвоировать". После отбытия половины срока заключенный (если у него не особо тяжелая статья и срок не больше десятки) получал право выходить за зону без конвоя. Это, к тому же, давало возможность использовать его на необходимых для лагерного хозяйства работах — например, возчиком, или водовозом или, вот как меня — зав. складом, потому что склады помещались за зоной. Радиус моего хождения был невелик, но иные расконвоированные (их у нас называли "бесконвойные") даже ездили на железнодорожную станцию, в Благовещенск. Они, что называется, были облечены доверием. Но — вот неблагодарность людская! — именно среди бесконвойных, у которых большая часть срока была позади, случались побегі. Была у нас такая Антипова — послали ее за зону полы у начальника мыть, а она, как была с ведром, ушла, и поминай, как звали. Только через несколько лет ее обнаружили в Ташкенте, у дочери — зять не выдержал, настучал.

В апреле на Дальнем Востоке солнце уже прогревает, хотя и скупое. А в лагере, в ту последнюю мою весну, начались ЧП и в нашей жизни. Опять происходило небывалое: стала уходить пятьдесят восьмая — по пересмотру дела.

Первой ушла врачиха Мая, отсидевшая с нами чуть больше года. Девять лет, как говорилось, "оставила начальнику". Мы даже привыкнуть к ней как следует не успели. Провожали мы ее, нашу первую ласточку, с изумлением — но твердо помня, что первая ласточка еще не делает весны.

А в мае ушла вторая — жена офицера, который "выбрал свободу"; служил в Германии и в один прекрасный день скрылся где-то на западе. Жену, которая жила в Москве с сыном, немедленно арестовали, дали десятилетний срок — и вот она освобождалась, отсидев всего два года, еще и башмаков лагерных не износивши, тем более, что работала она у нас в бухгалтерии. От нее пришло письмо из Москвы — была в Большом театре, в театр теперь носят вечерние платья, жизнь прекрасна...

— Что ж, неужели так и будет — по одной, по одной в месяц? — томились мы. — Да, небывалые вещи делаются — но дойдет ли до нас?

Мы жадно читали газеты, силились прочесть что-то между строк. С самого пятьдесят третьего слова "социалистическая законность" не исчезали с газетных столбцов — но значение их все еще для нас не прояснялось.

Особенно терзались двадцатипятилетники — из них не ушел еще никто.

А те, кто кончал срок, недоумевали: как же так? Мы свои десять лет от звонка до звонка — а почему же другие... Почему мы считаем месяцы? Разве так надо, если по справедливости? Валя никогда об этом не говорила — только темнела лицом. Ей освобождаться было осенью этого, пятьдесят четвертого года. И скажу сразу — отсидела весь срок. И меня проводила, плача над горькой своей, бес-таланной судьбой.

Но я в ту весну ничего еще для себя не ждала. Хотя письма из Ленинграда шли необычные: "я уверена, что скоро вы оба увидите своих детей", — писала моя свекровь. Я дивилась: ну, я — это еще можно при усилении воображения себе представить. Но муж? С двадцатипятилетним сроком?

В июне ушли почти одновременно две женщины. Тетя Серафима, колхозница из Калининской области имела десять лет ЗА НЕМЦЕВ! Измена родине. И вот освобождалась по пересмотру.

Четвертой была Мария Андреевна, "статуй". Двадцать пять лет! Ленинградское дело!

А пятой была я. Шла я из-за зоны и несла за спиной мешок с ложками со склада. И встретила мне на дороге телега с нашей хлебовозкой, она же и почтальон — бесконвойная западная украинка, тетя Оля. Она меня остановила: "подожди, Руфа, я тебе шось скажу!" И смотрела на меня грустно, влажно, своими украинскими нестареющими очами, с поволокой. — "Освобождаешься ты, Руфа! И ты, и муж твой!" — Тетя Оля, да охота вам шутить так! — Не шуткую я! Телеграмма тебе пришла, я привезла. И ты и муж!

Я все-таки ей не поверила — особенно из-за мужа. Но только не могу вспомнить, как дошла до зоны со своим мешком. А там уже все знали. И телеграмма лежала на столе, открытая: "Ты и муж освобождены"... От свекрови. Не из Ленинграда — из Москвы.

Потом Фрида Вигдорова, у которой она тогда гостила, рассказывала:

"Нам казалось, что у Генри (так она называла мою свекровь, Генриэтту Яковлевну Векслер) что-то с психикой. Она совершенно серьезно говорила: я долго у вас пробыть не могу, мне надо возвра-

щаться в Ленинград — готовиться, ведь дети придут! А тебе еще пять лет сидеть, а Илюше — страшно говорить сколько! — Генри, но почему вы так уверены? — А вот так!” Мы пытались ее осторожно как-нибудь отвлечь. Ведь никто еще не возвращался — только жена Молотова. И то, это только слух был, неподтвержденный. — А завтра, — говорит, — я должна пойти узнать в приемную Верховного Совета...

Она пошла. И там ей это и сказали: освобождены. По амнистии!

Она рассказывала: там много народу было, узнавали... И все больше женщины... И все мне говорят: молебен, молебен надо... немедленно пойдй закажи!

ИСКУССТВО

До лагеря от станции добрались легко: на машинах. Вообще, заметила я: чем дальше от столицы нашей родины Москвы, тем быт становился легче. Со станции Топчиха, Томской области, сорок километров мы перли пешком — но под вещи нам дали телеги. Со станции Бокситогорск, по доброму морозцу, всего десять градусов, — мы, еще по тюремному, по городскому одетые, промерзшие в вагонах за двухдневное путешествие — хоть и топилась в середине вагона буржуйка, и дров хватало, но кое у кого волосы примерзали к нарам — дошли под конвоем бодро, с чемоданами в руках и только немногие поотмораживали пальцы. А тут — машины, огромные американские грузовики, и даже без щитов. А начальник лагеря — тот нас принял на комендантском лагпункте и вовсе как отец родной:

— Вижу, вижу, что от Низюлько приехали!

Добрый барин, никакой не Легри из "Хижины дяди Тома": просто доволен, что такую свежую, молодую рабочую силу пригнали. Не откуда-нибудь — от Низюлько. Из Топчихи. С сельхозов. Тоже ему ведь с нами план давать. Ну прямо — вы наши отцы, мы ваши дети. И уже смеялись в рядах, довольные, что и Низюлько тут знают (мы-то его, пожалуй, всего разок и видели, того Низюлько — уж больно важен был!), и нами довольны...

А потом — как положено: баня, прожарка и смотрины; офицеры за столами, за списками: в парад-

ных кителях, с орденами-медалями; мы — перед столами, голые, с бритыми лобками... Одна выпросила разрешение: в голубой короткой шелковой рубашечке стояла, с нежными розочками... Эта была из номенклатуры. А мы, рабочая скотинка, стояли спокойно, не стыдились. Как говорила потом Маша Лукина: а чего стыдиться? Мы не кривобокие. И вообще — пятьдесят восьмая: у всех тело чистое, никаких таких...

Мы, мы... Может, тут и неправо говорить: мы. Скажу так: я не стыдилась. Конечно, лезло в голову про патрицианок, которые рабов за людей не считали, и можно было этим воспоминанием поддерживать себя. Но не воспоминание о патрицианках тут у меня было, а отстраненность. Я стояла перед неизвестными мне, потеющими в своей парадной форме, и видела не себя перед ними, а больше общую картину, их и нас, и как я когда-нибудь — когда-нибудь — это опишу. Блеск погон — и наши белые торсы с загорелыми руками и ногами (с сельхозов же! В поле мы работали в майках, агроном шутил: это еще что за лебединое озеро! — но ничего, разрешал, жара стояла в то лето). Я не видела, я описывала это все. Только отвечать на вопросы было странно — как во сне; экзамен какой-то и ты не то не слышишь, не то не понимаешь вопросов, и я их даже теперь не помню. Наверное — фамилия, статья, срок, чем на воле занимались, кажется...

Тогда мне было — или казалось — все равно, а сейчас я думаю: а они-то что, эти, с погонами? Кем они себя видели? Кем воображали? Нас они видели хорошо, им полагалось смотреть, может — и рассматривать. А себя? Ведь дано человеку воображение. Или так уж привыкли?

Давным-давно, сразу после войны, я ехала в Мо-

скву с восьмимесячной дочкой, и молодой офицер, желая произвести впечатление, рассказывал, что он видел женские лагеря, где жены врагов народа. "И Тухачевского жена! И Ягоды! Ох, и страшные они все, ох и страшные!" И не объяснял — почему страшные. Из Гулага он был, что ли? Такой мирный, добродушный парень, с латышской фамилией. "Почему — страшные? Голодные?" "Не голодные, — объяснил он, — а просто... как бы это сказать? Ну, мужчин ведь годами не видели".

Но то был москвич. А для этих, за столом, в погонах, мы не были "страшные" — как негры не казались страшными южанам-плантаторам. Привыкли. Те к хлопку были приспособлены, мы — к зерновым. Еще неизвестно, что легче. И те, между прочим, семьями жили. А мы монастырской своей общиной. С нарядчицей-игуменьей. Ни секунды одиночества, за годы и годы. Сто лет неодинокства. Тоже не сахар. Сто лет — уборная на шесть очков. Время наше считалось легкое — голода не было и был, благодаря Кравченко, и Элеоноре Рузвельт, и Герберту Моррисону — хозрасчет. Письма доходили. Газеты. Концерты мы сами устраивали. Лагерь был общий, то-есть смешанный, мужчины и женщины на одном лагпункте, через колючую проволоку. По-моему, доживали такие смешанные лагеря последние свои месяцы — после амнистии 53 года их, пожалуй, и совсем не осталось. Но то был только еще пятьдесят первый — еще и Корейская война только-только начиналась, еще гениальные труды — об языкознании да об экономике социализма — были все внове... Ладно, кто посетил сей мир в его минуты роковые — помнит, а кто не помнит, все равно не представит, и слава Богу!

Но с лагерями какая-то все-таки была неувязка:

в школах давно процветало раздельное обучение, а лагеря еще попадались совместные. И вот, в таком вот совместном лагере, где и статьи все были перемешаны, как крупа в баланде, вдруг одновременно оказалось человек семь или восемь цыган — мужчин и женщин. И Качалова.

Кто такая была Качалова — никто не знал. Статья у нее была пятьдесят восьмая, пункт десятый (разговорчики), родом была она, похоже, из Киева, но опять-таки наверняка не скажешь. Считалась артисткой — но, глядя на нее, я всегда вспоминала роман Колетт, где журналист для приличия назвал куртизанку "известной артисткой", а она отвечает: "Ох, я не думала, что мои любовники так болтливы". У Качаловой была внешность постаревшей звезды немого кино — крупные черты, волосы фетонами, много грима и короткая шея. На общие она не ходила, считалась инвалидом и разрисовывала для начальства по трафарету какие-то косынки. В самодеятельности не участвовала.

И вдруг пронесся слух: Качалова ставит концерт! Сама ставит!

У нас в том лагере была и настоящая артистка, заслуженная, из Малого театра, Ольга Николаевна Полякова. Зимой поставила "На бойком месте" Островского — точь-в-точь как в Малом, и актеры наши, по-моему, с ролями справились ничуть не хуже профессионалов. Бессудного играл зав. сапожной мастерской, могучий детина, не внушавший сомнения, что он с разбойниками "вась-вась", и все они давно у него на крючке; жену его — сама Полякова; Аннушку — Зойка-счетовод, такая красавица, какая Малому театру и не снилась; купчика — да какой же русский человек его не сыграет, что на сцене, что в жизни. У нас его играл Вася из

Алейска, завклубом. Только Миловидов был еврей — москвич, ласковый такой Витя из каптерки... Гусарства в нем было мало, но роль он знал хорошо. В общем, чудный был спектакль. Настоящий. И всем понятный.

Но то было зимой. А тут Качалова, в середине лета, в разгар полевых работ, стала репетировать. С цыганами, да еще кое-с-кем, из второстепенных артистов. На репетиции не пускали никого, хотя интерес был большой. Вася, завклубом, тот, кто играл у Поляковой купчика, когда его спрашивали, только головой крутил и говорил: "Ну, дают!"

Но репетиции шли недолго — неделю всего. И объявлен был вечер, — после целого дня прополки — выходных нам летом не давали. В клуб — он же столовая — натаскали скамеек: левая сторона для мужчин, правая — для женщин. После ужина — баланда, хлеб, чай — чистились, красились, накручивали локоны — потом повалили в клуб. Дневальные, хозобслуга, инвалиды уже сидели на ближних скамейках, их не сгоняли. На самых первых скамейках сидело начальство и надзиратели.

Что за пьеса была — не знаю. То ли Качалова ее вспомнила, то ли сами артисты подкинули к сюжету, кто что мог. Что-то насчет цыган в русском колхозе; отец дочку сперва не хочет за цыгана отдавать, а потом, конечно, ему растолковывают и он отдает. В общем — дружба народов. Но тут дело было, против обыкновения, не в сюжете, а в песнях, плясках, взвизгиваниях, в чем-то таком, что сразу перекинулось с крошечной сцены в зал, и заиграло само.

Дочку играла — представляла — рыжая Маша Дмитриева (парикмахерша из Тосно; оставлена была для подпольной работы, а вместо того влюбилась

в казака из Русской освободительной армии, с ним ушла, с ним брела по дорогам их отступления, пока он ее не бросил, беременную: она родила, и в тюремной одиночке вместе с новорожденной своей Люськой сидела: "Люська у меня в камере как барыня спала!")

Маша была плясунья от природы — русская плясунья, плыла утицей, с платочком, безулыбая, только румянцы да волосы горят пожаром. Текст был нехитрый: а спой ты мне, матушка, ту песню, что раньше певала! и матушка — из нашего барака, теть Аня, — откладывала шитье и заливалась: "Поддай матушка шаленку"... Да как заливалась! А несознательный отец (все тот же сапожник — Бессудный) слушал песню, закрывши глаза, а потом рывкал: "все равно цыганам не отдам!" И тут входили степенно цыгане — семь человек, пять парней и две девушки. Самый степенный — он у нас в инструменталке работал — недолго уговаривал отца, напирая вот именно на дружбу народов, а отец мотал головой и говорил: да вы бы, чем резину тянуть (так и сказал — наверное не по тексту!) спели бы чего-нибудь! Они пели. Классики цыганской — "Невечерней", например, — не было, не знали они ее, не столичные то были цыгане — сибирские! Пели "В час роковой" — не иначе, Качалова научила; пели "Шумный город для цыганки тесен" (чуть ли не Морфесси), и "Мой костер" и уж потом, когда сдался отец, пошло: "Цыганочка Аза-Аза, цыганочка черноглаза", и "Две гитары за стеной" — с какими-то другими, неизвестными словами, а главное — припев, припев, эх раз, еще раз, припев, и пляс пошел, с привизгиваньем, и пыль столбом с неметенной сцены, и Маша поплыла с платочком, и Николай, цыган-жених, маленький, верткий, огром-

ноглазый, двумя пальцами за платочек этот, невысоко поднятый, ухватился, и вприсядку, вприсядку, под хлопанье, топанье; и уже гитары — одной бедной гитары не слышно, только голоса живые, без узды теперь, как кони в табуне... Тут бы сказать — их не отпускали — да куда там! — никто и не собирался уходить, ни со сцены, ни из зала, так и плясали под одни аплодисменты, пока не поднялся крик-стон: "Кача-аа-алову!" И вышла Качалова — серьги на полщеки, красная цветастая повязка туго по голове, и поклонилась в пояс, рукой от плеча... А те плясали, вокруг нее уже, не задевая, сами плясали.

Пока не стали выходить начальники — продолжалось. Пока не крикнул зычно старший надзиратель Мусияченко: "Ааат-бой!" И все загудело по-другому — плясуны остановились, а из зала кричали: "Да гражданин начальник, да мы..."

И один отчаянный голос:

— У, падлы, псарня проклятая!

— Так! — зловеще сказал Мусияченко. — Это ты, Клейменова?

Лиля Клейменова, похожая на голливудскую звезду средней величины, откликнулась немедленно. Отклик я тут повторить не решаюсь.

— Сама в карцер пойдешь? — прохладно поинтересовался Мусияченко. — Или довести?

Опять Лиля ответила, несколько многословнее, чем нужно, но по смыслу явствовало: сама пойдет.

— То-то же! — сказал Мусияченко, глядя Лиле вслед.

На этом бы мог закончиться наш нездешний вечер, но на беду со сцены стали прыгать артисты — и новое облако пыли приподнялось и повисло между потолком и полом.

— Безобразие! — разнервничался Мусияченко. — Пол не могли подмести! Такой, извиняюсь, хлев (Мусияченко никогда не матерился). Концерт называется! Вы, Качалова, пожилая женщина, а не понимаете!

Потом говорили, что Качалова обиделась на "пожилую женщину". Но я лично так не думаю. Она еще стояла на сцене, подмости подсказали ей линию поведения, в ней проснулась артистка. Грим резче выступил на ее крупном лице — она побледнела. И подбоченилась.

— А вы, гражданин начальник, чем замечания делать, сами бы веник взяли, да подмели!

Какой крик поднялся!

— Правильно говорит... Целый вечер сидел, пялился... Ему же концерт показывают, а он... Вместо спасибо...

Мусияченко загремел:

— Ну, погоди, Качалова... Ну, ты у меня попляшешь...

Качалова выкрикала:

— Артисты... Искусство... Неблагодарность...

Мусияченко крупным шагом направился к двери. Качалова зарыдала. Все бросились ее утешать:

— Все к оперу пойдем. Да что же это такое! Такой вечер — а он при... придирается, извините, конечно! А мы оперу скажем — да он же сидел тут, опер, так хлопал, так хлопал... А и если в карцер...

— А и если в карцер — все равно не тушуйтесь, не оставим, — сказал степенный цыган.

Качалова вытерла глаза и сказала:

— Я и не тушуюсь. За искусство можно и в карцер!

Она долго не ложилась спать — готовилась к

карцеру и лила слезы: и себя было жалко, и в карцер идти страшно, а более всего...

— Вы поймите, — говорила она потом, — такая минута... Ну, лагерь, ну, зритель, конечно не тот, ну, и правда пыль эта, мы не успели... Но такая минута! Пусть они не профессиональные, но они же настоящие таланты, нет? Пусть Ольга Николаевна скажет, она понимает. И — я о себе уже не говорю. Но он даже не понимает, что такой подъем, такой подъем... И люди после этого лучше работать будут, спросите кого хотите... Ведь это искусство! Я вам скажу — даже начальник лагеря понял, что это искусство, он так слушал, так смотрел... Да и сам Мусияченко... И такая неблагодарность...

В карцер ее не посадили, однако.

А цыган дня через два разослали по другим лагпунктам. У нас остался только тот, степенный, что работал в инструменталке. Он как-то в поле, когда стали уже забываться события, подозвал меня к себе:

— Давайте, тяпку наточу!

Стал точить и сказал:

— Николай для Марии привет прислал. Увидите — отдайте (Маша-рыжая сегодня была на другом поле).

Полез в карман, достал бумажный комок, отдал.

— На дальний этап попал Николай. А сидеть осталось — ничего: восемь месяцев. Боятся нас на одном месте задерживать.

Я увлеченно следила, как ловко он шаркает точильным камушком. Рассеянно спросила:

— А чего боятся-то?

Он, сосредоточенно шаркая, ответил:

— А как же! Цыгане! Вольница! Им всем это — вот!

И ребром ладони — по горлу.

— Вы думаете — этот надзор, хохол ваш, чего он, как чокнулся? Пыльно ему, видишь ли! Никто из начальства ничего, все хлопали, а он — ”пыльно!”

— Власть захотел показать, — согласилась я.

— Власть, это да. Он это любит. Но еще чего-то ему свербело. Не любит он цыган. Потому... Он, понимаешь, вольняшка — да он только перед заключенными вольняшка. А перед нами он кто?

— А вы что ли, не заключенные?

— Не понимаете вы, — сказал он с сожалением, возвращая мне тятку. — Мы посидим-посидим, да и уйдем... И уж тут... — Выпрямился, раскинул руки и сладко вздохнул. — Вся земля! А он будет сидеть в своей будке, как, извините, пес сторожевой. Да вы не понимаете.

— Нет, почему же? Понимаю.

Начальство — другое дело. Они, может, чувствовали себя ”у Яра”. Что-то осталось у них в памяти — офицеры, кутежи, цыгане, Лещенко — у пограничников всегда водились пластинки Лещенко; — что-то осталось в памяти, не то из фильмов, где разлагается буржуазия, не то из уроков политграмоты. И вот они — наследники: и погоны на них, и цыгане пляшут.

Мусияченко, вероятно, был на музыку отзывчив: украинец. Что-то эти песни в нем глухо переворачивали, какие-то тяжелые пласты скребли душу. Нет, он не вообразил себя кавалергардом или гусаром: зачем? Отцы и деды были хлеборобы, ”садок вишневый коло хаты”; потом, верно, побросали сачочки, потянулись на новые земли, на восток, где палку посади — цвет даст. И вот — надзиратель над бабами. А мог бы... Если бы иначе повернулось — мог бы... И не слова, а голоса, буйство

голосов и напевов — и вширь, и вверх... Дразнило, мучило, покоя не давало: эх, еще раз, мог бы, мог бы... Саднило... Эх, еще раз... досада...

И с досады... Лилька Клейменова. Что он, не знал? Клейменова была всегда тихая, из блатных — но тихая, только знали: с ней лучше не связываться. А он связался. И с Качаловой получился прокол: начальство не утвердило карцера... Да он и не собирался ее держать, и Лильку на утро уже выпустил — успокоилась за ночь, тихая вышла, не ругалась. И он ничего не сказал — это Лиля потом в поле рассказывала.

Искусство, искусство... Что-то оно из человека вызывает, конечно. Но чаще всего — его самого. А чувства его выражаются по-разному.

В свертке газетном, что я вечером Маше передала, был кусок сахара.

АРТИСТКА

”На бойком месте” я помнила наизусть, тоже с тех суфлерских времен.

Ставила эту пьесу у нас в лагере Ольга Николаевна Полякова — артистка Малого театра, даже Заслуженная артистка. В то время ей было под пятьдесят, она была родом откуда-то с Волги — то ли из Саратова, то ли из Самары; семья, видно, была вполне ”старорежимная” — во всяком случае, Ольга Николаевна, вспоминая о прошлом, никогда не говорила царь, а всегда по-старинному, как тогда говорилось — государь. ”И государь приехал...” Большой карьеры она в Малом не сделала — ампула у нее было, вероятно, то же, что у Пашенной — может, когда она ее и заменяла. Но во всяком случае ”заслуженную” получила, и никто эту заслуженность сомнению не подвергал, хотя Ольга Николаевна никогда в самодеятельности лагерной участия не принимала. Тут надо сказать, что в лагере очень быстро распознают, что подлинное, а что подделка. А в Ольге Николаевне, актрисе, где, казалось бы, все должно быть на игре, на притворстве, на фальши, на котурнах, была подлинность артистки из хорошего дома. То, чего Станиславский от своих актеров добивался. Чувство собственного достоинства в ней было, и юмор — сквозь некоторое угрюмство даже! — и, конечно, русская речь-реченька, Малый театр, одним словом. Она рассказывала — скупое, не повторяясь — о великих стариках, рассказывала не сплетни и не легенды, а что-то сре-

днее. Скажем, о Яблочкиной: "Ну, у нее, она нам объясняла, все было — потому что она девушка. И коса густая, и свежий цвет лица — потому что девушка..." — А правда была девушкой? — Правда. Ее любил Южин, и она его любила — но он был женат! Говорили, что она дочь Александра Третьего. Ну, не знаю. Мать ее тоже актрисой была..."

Ольга Николаевна была женой актера Синицына, великого актера МХАТа, который покончил с собой, как Гаршин, — бросился в пролет лестницы. Наше поколение о нем ничего не знало. Ее это огорчало. А в чем он играл?

— Ну, например, в "Ромео и Джульетте", в "Отелло". Нет, не Отелло. Яго!

И, видя недоумение — уж очень противная роль! — добавляла: "Говорили, что при таком Яго Отелло уже не имеет значения". Потом я читала об этом в театральных воспоминаниях...

В театре она дружила с Наташей Розанель — женой Луначарского: вероятно, были они однолетки, но Полякову приняли в театр задолго до ее подруги.

— А что она, совсем не была талантливая?

— Какое там! Совершенная бездарность. Но она человек хороший, и не виновата она, в конце-концов, что ее муж был наркомом. Конечно, ей худо приходилось в театре...

Еще был странный рассказ — как уже из лагеря под Москвой начальник возил ее к Розанель в гости — чем угощала, как принимала... Тут я, грешным делом, сомневалась — а не мечтание ли это? Но то было время военное, мало ли что могло случиться!

Срок у Ольги Николаевны был немаленький — восемь лет — типичный срок, который давала "тройка" или "ОСО" — Особое Совещание. Т.е., ника-

кого суда, все решается заочно. Опять-таки время было военное, хоть и конец уже виден был — 44-й год.

А получила она свои восемь лет за частушку. Был у них какой-то междусобойчик с молодыми актерами. Время военное, выпивка есть, закуски мало. И Ольга Николаевна, выпивши, разумеется (“как все, не больше и не меньше”), — когда пошли частушки (народность в моде была, опять-таки время военное, патриотическое), спела свою, может, еще с Волги привезенную:

Вот висит советский герб:
Вот-те молот, вот-те серп!
Хочешь жни, а хочешь куй,
Все равно получишь...

Тут именно тот случай, когда из песни слова не выкинешь. Тем более, что именно это слово обошлось Ольге Николаевне в восемь лет исправительно-трудовых лагерей — и не больше, и не меньше. От звонка до звонка, разумеется.

Была уже осень, октябрь, вот-вот Покров и мы торопливо убирали картошку, чтобы до снега успеть, до белых мух, как говорилось. Ольга Николаевна таскала со мной ящички. Широкий, просторный, полевой ветер гнал нам навстречу пересохшую за лето ботву, пыль и сор минувшего лета. Солнца не было, небо было серое, тревожное, Ольга Николаевна гулко, словно ветру отвечая, повторяла:

...Украина глухо волновалась...

Грозно это у нее получалось, низкий, глухой голос гудел колоколом. Потом она сказала задумчиво:

— Следователь ко мне приставал: что это вы все говорили “Украина глухо волновалась”? А я тогда

уже знала, что плохо мое дело, уже и собрание в театре было из-за этой частушки, уже и осудили меня бесповоротно, уже мне и раскаяться не дали — только обличали, знаете, как это делается, все по очереди слово брали — представляете, как испугались? Ну, я, значит, совсем одна дома хожу по комнате и почему-то повторяю вот это: "Украйна глухо волновалась, Украина глухо волновалась..." А, может, она в то время и на самом деле волновалась, а у них микрофон был к моей комнате подключен, или как еще там они подслушивали... Я ему говорю: это Пушкин, "Полтава". Знаем, говорит, что Пушкин, не думайте, мы тоже с высшим образованием, а вот почему вы-то, вы-то это вспомнили? И смотрит этак пронизывающе... О, Господи!

Как это удалось ее уговорить "Бойкое место" поставить, да и самой в нем играть? И каково было ей, высокопрофессиональной актрисе, жить на сцене среди... Ну как сказать? Любителей? Что-то в этом слове отдает интеллигентными дачниками и вообще Антон Павловичем Чеховым. Не любителями были наши лагерные артисты, как хотите!

Может, ей и легче было ставить "Бойкое" с нашими, чем было бы с интеллигентными любителями? Сперва ей смешно было, что "купец Непутевый" — наш художник Коля, родом из-под Барнаула, — говорит "взамуж" вместо "замуж", — а потом вдруг ее осенило:

— Да ведь так и надо. Так, верно, и говорили.

И больше Колю не поправляла.

А сама-то как счастлива была на сцене — на ничтожных наших подмостках, как наслаждалась ролью, как голосом играла — и сколько ее вызывали, сколько кричали: "Полякову! Полякову!"

На другой день после спектакля нас, конечно, на

работу вывели — траву жечь. И тут одна женщина, из вчерашних зрителей, ей сказала:

— И-и, Ольга Николаевна! Какая вы, видать, были хозяйка хорошая! Я вчера смотрела, как вы посуду перетираете — ну, прямо смотреть завидно, как у вас ловко, быстро... Уж если вы на сцене так ловко, то...

— А в жизни-то я плохо, — сказала Ольга Николаевна. — Я же актриса.

— Ну, да! — та так и не поверила.

А я ловила мелочи театрального быта, которые проскальзывали у нее невзначай. Все-таки сцена — что может быть завлекательнее и таинственнее.

Зоя — наша Аннушка — пела свой романс. Сразу уловила мелодию, а манере исполнения ее и учить не надо было. Ольга Николаевна вспоминала:

— Господи, а у нас, когда "Бойкое" репетируют, особенно когда новую исполнительницу вводят — только и слышишь в каждой закутке рояль и это самое: "Пела-пела пташечка". И голос у исполнительницы дрожит, и чувствительно так старается... А Зоя вот...

И пожимала плечами с недоумением.

— Живет в роли, купается... А когда говорит: "Зажгу! зажду дом!" Вы обратили внимание? Бледная, глаза горят...

Еще бы! В зале холод прошел, когда она это сказала. И — тихий, ужасающий голос из зала: "Ах, негодяйка!.."

И то сказать: из-за полюбовника дом жечь!

Чудо искусства рождалось перед нами на лагерной затрушенной сцене, и была на ней старая Русь из разбойничьих песен, с романсами Дельвига с вечной семиструнной гитарой — чудо искусства превращало в одно живое существо сцену и зрительный

зал. И еще чудом было то, что Ольга Николаевна, профессиональная актриса, не выпадала из этого целого, не была сама по себе — просто была Евгенией, привлекательной и бойкой бабенкой, хозяйкой разбойничьего постоялого двора...

Она не была красивой — черты лица у нее были скорее грубые, кожа всегда какая-то воспаленная (девочки считали — от грима!); но была в ней стройность, хороший рост, целесообразность движений и полное отсутствие какой бы то ни было суетливости. Она была до того естественна, что рядом с ней любая преувеличенность реакции казалась фальшивой. Вот, видимо, что такое была школа Малого театра.

* * *

Я не видела, как освобождалась Ольга Николаевна — это должно было быть в самое темное время — в конце 1952 или в начале 1953 года. Я в это время уже была на Средне-Белой, за тысячи километров от почти европейской Западной Сибири. Раза два мы обменялись письмами из лагеря в лагерь после смерти Сталина. Письма те у меня не сохранились, помню только, что она мне писала о Татьяне Григорьевне Гнедич: "Вообразите, она... влюбилась!" Влюбилась Татьяна Григорьевна в своего будущего мужа, и это стало явным перед самым ее освобождением.

Сама Ольга Николаевна не влюблялась и не кокетничала даже — никогда и никак, что тоже разрушало штамп "актриса". Думаю, ей тогда было под пятьдесят — иные в этом возрасте очень даже стараются остановить мгновенье. Но не Ольга Николаевна. Гордая была женщина.

В 1955 году — мы уже жили в Ленинграде —

раздался телефонный звонок. Это была Ольга Николаевна. Она была в Ленинграде на гастролях, с Петрозаводским драматическим театром, и приглашала нас посмотреть спектакль "Каменное гнездо".

Мы отправились, кажется, в Выборгский дом культуры. Пьеса была какого-то финского автора, доселе нам не известного: крепкая хорошая пьеса про семью, которая держится на бабушке. И бабушка была наша Ольга Николаевна — с седыми "бандо" (не могу назвать их иначе), со старческой медлительностью движений, с финской суровостью, с белгой прелестной улыбкой, которая стала возникать только в самом последнем действии, когда все устроилось (ею) и решилось. Другие актеры работали старательно и потому переигрывали — все, кроме молоденькой героини, которая ничего не нарушала, естественно играя себя. Но Ольга Николаевна, собирая постепенно вожжи разрозненного действия, и ее заслонила — не отстранила, не затмила, Боже сохрани, а осторожно поставила на место. Главной тут была бабушка, и под конец пьесы это уже не нуждалось в доказательствах: всем и так было ясно. Тогда еще не было в нашем театре красивого и твердо разработанного ритуала — кто, когда и как выходит кланяться; мы его позаимствовали у французов потом. Так что не было тут самой точной проверки — резкого усиления аплодисментов, когда выходит премьер, или тот, кто сегодня был бенефициантом. В общем, тот, кого зрители сегодня по-настоящему ждут, чтобы выразить... Занавес поднимался над всеми — все стояли вежливо на сцене и вежливо кланялись. Но успех был, несомненный успех.

А я беспокоилась: нравится ли наша Ольга Николаевна моему мужу. Он видел больше моего, пони-

мает больше. Мне все время хотелось спрашивать: ну, как? Ну, что скажешь? Я еле удерживалась.

Но хлопал он исправно, только что не кричал: "Полякова". И когда мы пошли за кулисы (никогда прежде я не ходила за кулисы в настоящем театре), я, наконец, спросила свое: "Ну, как?"

— Ну, как... — сказал он. — Прекрасная актриса, что уж...

Она и за кулисами была хозяйкой — по положению, по возрасту, по заслуженности. Забыла сказать: на программках так и стояло: Заслуженная артистка РСФСР. Она нас принимала, она представляла нам (право же, иначе не скажешь!) своих партнеров, мы говорили им все, что полагается... Наконец, мы с Ольгой Николаевной поехали к нам домой — даже такси нашлось.

Дома был ужин, и вино, и водка ("Нет, я уж водочки!" — сказала О.Н.). И разговоры — о пьесе, о труппе: "Ну, что вы хотите, Петрозаводский театр!" "А вот эта девочка, которая играла..." — "Да, эта способная. Но — не удержится. Простая девочка, выпивает, муж бьет — она гордится, бьет, значит любит. Ну, Островский, вечный Островский!"

Когда мой муж ушел спать, она сказала:

— Повезло вам, Руфа... И домой до срока, и муж молодой...

— Ну, какой молодой? Сорок лет.

Она усмехнулась: — Молодой.

— А что у вас, Ольга Николаевна?

— Руфа! — сказала она. — Меня обратно берут. В театр!

Как будто сейчас она служила в балагане. Нет, театр — это Малый. И все.

— Как хорошо! — сказала я. — Да я и не сомневалась, что возьмут, но конечно... Как хорошо!

— Да, — говорила она, тихо сияя. — Сперва высылали гонцов, а теперь уже официально пригласили разговаривать. Вообразите — я дала согласие!

Мы посмеялись.

— И вот — с будущего сезона. И опять "Каменное гнездо" буду у них играть. Вот тогда вы меня посмотрите!

* * *

Мне не удалось ее посмотреть больше. Она успела вернуться в свой Малый, даже, кажется, участвовала в одной репетиции. Вечером она пошла в гости к кому-то из "стариков", там ее величали, поздравляли, прославляли... А ночью у нее случился инсульт, и она умерла.

ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА

Не могу понять, почему я в тот день находилась в зоне. День летний — на сельхозах выходных быть не может; никаких привилегий в том лагере у меня никогда не было. Может, перед этапом? Но помню — хожу, слоняюсь по зоне и вижу: Татьяна Григорьевна сидит в тени барака и вышивает. Я к ней подседа и с этого момента помню точно все, как было, весь разговор.

Я видела, что она мрачна, но это у нее иногда бывало и никогда не затягивалось, всегда можно было отвлечь, заинтересовать, всерьез заинтересовать чем-то совершенно неактуальным: "Помните, у Лермонтова?.. Так вот...", — или: "Вчера подходит ко мне в поле Маша и говорит..." Она сразу откликнулась очень живо, и неведомыми путями расцвела интересный разговор. Но тут — не пошло. Я закидывала удочки, она отвечала односложно, я поняла, что она сосредоточена на вышивании.

— Это что вы, Татьяна Григорьевна? Для кого?

— Для начальства. Для начальника лагеря. Гардины. Или шторы, или черт их знает, что!

Отложила вышивание — значит, видимо, за столом сидели: летом были у нас столы на улице, как на дачах бывает. Отложила вышиванье, подняла голову, прищурилась:

— Вот думаю: повесят они у себя эти шторы. Но ведь я вышиваю их с недобрым чувством. Не то, что против них самих, а просто — с недобрым чу-

вством. И что-то в этих шторах застрянет, не может не застрять. Злая вещь, опасная. Крепостная работа, видно, всегда опасна. Главное, не хочу ненавидеть — не хочу желать зла. А с собой ничего поделаться не могу. И вот, будут они сидеть в комнате, где эти шторы, и будет у них на душе скверно, тяжело, муторно, и они даже понять не смогут, почему. Вы не думайте, что, если они толстокожие, они и не почувствуют. Почувствуют. Так я с ними и останусь, как... как злой дух.

Мы с Татьяной Григорьевной "познакомились на пересылке", как в лагерных песнях поется — в ленинградской пересыльной тюрьме. Она к этому времени уже отбыла более чем полсрока, а я только-только начинала. Но я ее сразу узнала, потому что встречала ее за много лет перед тем, в университете: опять-таки, я была только первокурсницей, а она — аспиранткой. Она была приметная: было в ней что-то благородно-лошадиное — длинная узкая голова, всегда понуренная, от чего казалась еще длиннее, и робость, робость — есть такие лошади, робкие. От этой робости, наверное, она казалась старше своих лет — а было ей тогда лет двадцать шесть — двадцать семь. Я спросила, кто это — чем-то она меня заинтересовала. Мне сказали: аспирантка, Гнедич. — Гнедич? — На мою первокурсную одесскую голову такая фамилия падала, как гром, — но ведь я была в Ленинграде, где даже Ахматова, как оказалось, живет...

Прошло девять лет, вместившие в себя войну, блокаду, эвакуацию, возвращение. Осенью сорок пятого года на одной из первых нищих послевоенных вечеринок-поминок я услышала, что в войну посадили Татьяну Григорьевну Гнедич. "Ту самую? Нашу аспирантку? За что? (Это был наивный вопрос, но

его иногда задавали.) И тут пошел какой-то невнятный рассказ про какого-то англичанина, с которым она встречалась в эти годы, разговаривала обо всем, а потом каялась, и, в общем, можно сказать — "сама себя за шиворот привела в полицию". И люди качали головами и дивились, и никто не знал, что нам готовит "мирное время", и говорили: "Она, кажется, была со странностями..." Я потом не раз слышала это "со странностями" про посаженных. Может быть, тут ворожба: "Я-то без странностей, меня не посадят". И попытка найти закономерность и выделить — отделить от себя — предначертанный круг обреченных. Но тут сразу же рассказали поразительную историю: она в тюрьме, в одиночке, по памяти стала переводить "Дон-Жуана". — Мольера? — Какого Мольера? Байрона! Октавами! Ее перевод послали Александру Александровичу Смирнову на отзыв. — Ну? — Александр Александрович сказал — гениально. — Ну да? (Смирнов не слишком щедр был на такие оценки.) — И написал? Так и написал ТУДА? — Так и написал! — И теперь, может быть, ее выпустят? (Тридцать седьмой год был далеко позади, сорок девятый еще не начался.) — А что? Бывает! Вот, помните, в тридцать девятом, когда профессор Берков вышел из тюрьмы, а его называли уже "австрийский резидент Беркофф". А если не сразу выпустят, может, облегчат... Говорят, у них есть такие места, где люди работают по специальности (слухи о шарашках уже проникли в народ), ее могут туда взять...

Пять лет спустя — может быть, даже день в день — я увидела ее на пересылке и сразу узнала. Она была в большой группе из лагеря Новолисино; оттуда отправляли всю 58-ю на этап.

Я подошла к ней. Передала "привет" от общих друзей и знакомых, которые на воле ее вспоминали. И получила предложение: давайте, я буду вас учить английскому языку. Что-то у нас завязалось вроде дружбы.

Настоящей дружбы не получилось — мы не были друг другу нужны; не было необходимой для дружбы дополнительности. Однако общность культуры помогала пониманию с полуслова — эти полуслова как клич: "Мы одной крови, ты и я!" Но ни в ней, ни во мне, несмотря на эту "единокровность" — а может быть, именно из-за нее, — не было интереса друг к другу. Поговорим и разойдемся, и пойдем к тем, кто нам по-настоящему интересен. А интересны нам обеим были "другие". Мы обе как бы "ходили в народ". И иной раз делились впечатлениями.

Татьяна Григорьевна была человеком удивительно одаренным, разнообразно талантливим, по-настоящему образованным. Ее знаменитый перевод байроновского "Дон-Жуана", сделанный в тюрьме, сначала по памяти, потом, после отзыва профессора Смирнова, — с текста, принес ей настоящую славу. Писала она и свои стихи — из них мало что опубликовано. Я до сих пор помню "Ахтырку" — о том, как царица Елизавета Петровна ходила на богомолье — длинная поэма с "вкусными" историко-бытовыми подробностями. Там были строчки: "И каждой песне, грустной и хорошей, подтягивал любезный друг Алеша". Нам, немногим слушательницам, поэма нравилась своей крайней несовременностью, исторической нарядностью, что ли. Вкус к истории у Татьяны Григорьевны был настоящий — она развлекалась, составляя "синхронки" — таблички типа: 1560 год — в России, во Франции, в Анг-

лии, в Германии... Она любила рассказывать о себе, сочиняя тут же, по ходу рассказа; иногда она, сомневаясь, спрашивала: а что я вам о нем (о ней) рассказывала? Фантазия у нее была щедрая, можно сказать, неисчерпаемая. Ее хватало и на вышивки — по собственным узорам.

Она считала себя старухой и повторяла мне: ремембер ми, уэн ю'л би форти ту (вспомните обо мне, когда вам будет сорок два!). Сорок два — мне казалось тогда, что это много, и я молчаливо соглашалась с ней, что она "по ту сторону". Она и вела себя по-старушечьи — и о своей внешности была, видимо, с самого детства самого безнадежного мнения. А между тем, если бы... В лагере, потом, мы иногда на нее заглядывались: искры из смеющихся синих глаз, тонкая улыбка... Но в пере-сылной она глаз почти не поднимала, и казалось, что она замерзает, хотя в камере было жарко: так сведены у нее были плечи, и в плечи вобрана продолговатая голова, и руки сжаты у неприметной груди... Какая-то она была тогда от века, навеки промерзшая.

А потом она заболела. Ее унесли в лазарет. Мы ей что-то совали с собой — она отмахивалась и все спрашивала: а где Галя? Галя, молодая деревенская девушка, тут же рядом стояла и склонялась к ней своим милым лицом: "Здесь я, Татьяна Григорьевна, все будет хорошо, Татьяна Григорьевна, выздоравливайте, Татьяна Григорьевна..." Галя была с ней в Новолисинском лагере, и от Гали, у которой был детский срок — пять лет "за немцев", — шло во все стороны такое необходимое всем ровное тепло. Через несколько дней был этап — вся камера, целый поезд... Татьяна Григорьевна оста-

лась в лазарете. "Может, зацепится на пересылке?" — надеялись мы.

Не зацепилась — да и не умела она никогда цепляться. Ее привели к нам в лагерь, в Боксигорск, через месяц, в разгар зимы, в феврале. Уже все было налажено — кто в пошивочной, кто в лесу, кто вчистую инвалид. В пошивочной полуинвалиды шили варежки, невообразимые по уродству, на машинах, которые поминутно ломались; в лесу валили, рубили, трелевали — без механизмов; чистые инвалиды — их было несколько старух — старались убирать и не попадаться на глаза, когда из лесу возвращались работяги. И среди этих старух оказалась Татьяна Григорьевна.

Она словно бы поправилась немного, а вернее — ожила: опять ее стала интересовать жизнь вокруг, и уже она шутила по поводу завязавшихся за этот месяц романов — лагерь был общий. Пошла и на первый концерт самодеятельности, который мы дали, — мы, новый этап. Я в этом концерте танцевала "молдаванеску" еще с тремя девушками — неожиданно пригодилась детская балетная выучка. Мы, все четыре балерины, работали на лесоповале, но в день концерта нам дали освобождение: артисты! Татьяна Григорьевна нас похвалила.

Я уже знала от бывших новолисинцев, что Татьяна Григорьевна там, у них в Новолисине, много занималась лагерным театром. Самодеятельностью, как это называлось. И поставила пьесу — уж не помню, чью — "Сады цветут". Но в этом лагере, Бокситогорском, в нескольких часах от Ленинграда (хотя этап туда тянулся более суток), она этим не занималась — оживала после болезни.

Мы тогда с ней много разговаривали. Тут я слышала, наконец, из первых уст историю перевода

Дон-Жуана и рассказала, что мы надеялись — ее выпустят или хоть переведут куда-нибудь, где она сможет продолжать... Она даже не дослушала, только рукой махнула и засмеялась. А вот о ее "деле" мы почти не говорили — в лагере редко об этом говорят, выговариваются раньше, в общей камере, на пересылке. Не думаю, что она, как тогда говорили, "сама себя за шиворот притащила в полицию". Я ей тоже повторила этот слух — она покачала головой: "Не совсем так это было". Думаю, что ее стали вызывать в ГБ, интересуясь ее частым в те дни собеседником-англичанином. И, вероятно, в ней заговорили давно в русской литературе описанные чувства "кающегося дворянина". Не знаю, встречаются ли Гнедичи у Карамзина, но в XIX и XX веках эта фамилия оставила по себе немалую память. Был великий Гнедич — друг Крылова, "переводчик слепого Гомера", и Гнедич — деятель театра, драматург, романист. Кажется, этому последнему она приходилась не то внучкой, не то внучатой племянницей. Но генетически она была потомком и переводчика, и театрального деятеля. Татьяна Григорьевна помнила своих предков, дворянством своим гордилась и терзалась, долг свой по отношению к народу ощущала как неоплатный и народ с советской властью тогда — во время войны! — отождествляла. А с англичанином позволяла себе душевные беседы, которые в протоколах называются "антисоветскими разговорами".

Англичанин тот, которого, конечно, тоже посадили, зла на нее не держал. Много лет спустя судьба меня с ним свела на московской кухне. Он говорил: "Ну, она же поэт! Дворянский поэт!" С чисто английским уважением к ее исключительности и к родовитости тоже.

Разговоры с Татьяной Григорьевной начинались обычно так:

— Вот, я думаю...

О чем только она не думала! Часто — цитатно: "А помните — у Гете?", "А помните — у Байрона?" Она помнила все, что читала, и многое наизусть: всего "Евгения Онегина", всю "Полтаву", всю "Железную дорогу" Некрасова.

В лето 50-го года она думала об атомной войне. "Я думаю — на луне когда-то была вот такая злобная цивилизация, которая закончилась атомным взрывом". Она тогда написала об этом стихи, про безглазый распад, которым все может закончиться. "И я кричу, я стираю руки", — заклинала она людей, человечество. Это были хорошие стихи, я и сейчас так думаю. "А если послать, Татьяна Григорьевна? В какой-нибудь московский журнал? — Она махнула рукой: куда там! Стихи остались в маленьком блокнотике, где много чего было ее бисерным почерком. Потом много лет спустя их, кажется, все-таки опубликовали — но борьба против атомной бомбы была слишком уж официозной, к тому же Татьяна Григорьевна была знаменитая переводчица, а не начинающий поэт — совсем другое ведомство. Стихи прошли незамеченными.

Вероятно, она писала — а может, не записывала, просто сочиняла — и прозу. Рассказывала мне как-то начало, про девушку, у которой рисунок бровей придавал лицу выражение смелости. Но поразила меня ее юношеская трагедия: не знаю, была ли она записана. Она не прочла мне ее — пересказала, и только один раз: мистическая трагедия, где речь шла о революции, ее грядущих благодеяниях — о равенстве и свободе (братства, по-моему, не было) и о вполне реальных, уже совершившихся —

не знаю, как сказать: злодеяниях? злодействах? попрании законов Божеских и человеческих?

Это было, помнится, что-то вроде начала гетевского "Фауста", которого Татьяна Григорьевна тоже помнила наизусть (первую часть). Какие-то верховные силы судят русскую революцию, и хоры ведут классовый спор, несколько отдававший, кажется, учебником политграмоты Волина и Ингулова, а в разгар спора поднимается откуда-то из бездны царица Александра Федоровна с окровавленным мальчиком на руках... Кажется, она ничего не говорит — только показывает ребенка. Меня это ошеломило. Убитый царевич — это был ужас и горе моего советского детства, одно из первых моих знаний, с которыми душа не могла примириться. Иногда я осмеливалась: а может, он все-таки спасся? Но нет, мне не оставляли надежды, говорили, что, кажется, спаслась одна дочь, а он — нет. В Ливадии (мне было тогда шесть лет) хранитель дал мне поиграть с заводным зайчиком — тогда это была редкость: зайчик подносил ко рту красную морковку. Меня игрушка пленила. Кто-то взрослый спросил: это Наследника игрушка? Я ответа не услышала, я и так поняла: его. Кто же еще был тут маленький? Игрушка осталась, а его убили. Я не понимала, как убивают, но слово понимала — слишком часто оно повторялось в те годы.

Потом с годами, когда душа загрубела, я перестала об этом думать, совсем перестала — история, которая была современностью, завалила нас трупами. И вдруг — вот этот образ: царица с убитым царевичем на руках...

Где теперь эта трагедия? Сохранилась ли? И была ли вообще записана? О замысле рассказывать куда интереснее, пока он не воплотился. Воплотив-

шийся, овеществленный замысел запеленут, как мумия, омерщвлен, как куколка: оживет ли, вылупится ли бабочка, слишком сильно зависит от внешней среды — очень много тут нужно благоприятных обстоятельств.

А может быть, то был даже не замысел, а импровизация? Мгновенная импровизация на верхних норах? Тоже возможно. Значит, убитый царевич и через тридцать с лишним лет не был погребен в ее подсознании. Ее память, почти абсолютная, не была услужливой.

Помнится, трагедия эта должна была быть в стихах, но самих стихов не читала мне Татьяна Григорьевна — только рассказывала.

О ее стихах. Версификаторских трудностей для нее не существовало, в этом деле она была виртуозом. Октавы, которыми переведен весь "Дон-Жуан", сонеты, венки сонетов... Но ее стих был старомоден — и по классической незыблемости, жесткости формы, и по словарю, и по синтаксису, и по семантике. Никакой расплывчатости значений: слово ее было однозначно.

Теперь мне кажется, что в этом был некий принцип неприятия. Двадцатые годы с их разбушевавшейся стихией, в том числе речевой, были ею внутренне отвергнуты. Ее русская речь была ее собственным заповедником, ее дворянским несокрушимым миром. Вероятно, в молодости она слышала: "Теперь так не пишут!" Но она писала, упорно и до конца, так, как "сейчас не пишут". Она тоже восстанавливала распавшуюся связь времен, но через голову серебряного века — прямо с золотым, с девятнадцатым, с веком Пушкина и Лермонтова. Сначала — бессознательно, как дышала, потом, вероятно, сознательно. Связь со всей той культурой:

западной, переводческой, русской.

В апреле 50-го совпали три Пасхи: православная, католическая и еврейская. В этот праздник нас всех — всю пятьдесят восьмую, включая парализованных инвалидов (были у нас две парализованные женщины, Дервис и Дрешер), отправили на дальний этап в Западную Сибирь. От железной дороги (Томской железной дороги, станция Чистюнька) мы сорок километров шли пешком. Парализованных везли на телегах с вещами. Татьяна Григорьевна сначала шла тоже, потом мы заставили и ее посадить на телегу — она стала заметно меняться в лице, и конвоиры не спорили...

И там, в том далеком сибирском лагере, я впервые увидела Татьяну Григорьевну в действии. Точнее — во взаимодействии с людьми. Как-то само собой получилось, что она стала душой лагерной самодеятельности. Притом, что была среди нас и профессиональная, даже заслуженная актриса — Ольга Николаевна Полякова, из Малого театра, и полупрофессиональная — киевлянка Качалова... Но Ольга Николаевна поставила только "На бойком месте" Островского, Качалова — один цыганский спектакль, а Татьяна Григорьевна помогала обем, сокращала, редактировала, вписывала целые роли и сама ставила — и была основой и душой всего этого дела. Много у нее было талантов, но главный был талант — учительский. Не знаю, как бы она справилась с обыкновенным школьным классом, где много званных, да мало избранных — но с теми, кого она сама выбирала, или с теми, кто ее выбирал, она... Тут не скажешь "справлялась" — не надо было справляться, ни управляться, надо было делать то, что она и делала: отдавать, отдавать не считая, не рассчитывая, что пригодится

сейчас, а что потом, что всем, а что лишь кому-нибудь одному. Так впоследствии она вела свой семинар молодых переводчиков, так она вела лагерную самодеятельность. И, пожалуй, лучшей ее постановкой был "Василий Теркин". Она его инсценировала, она дописала какие-то сцены, чтобы были женские роли, она выявила природных актеров, которые всегда есть в любом лагере, — и много лет все вспоминали Женю Луговую, которая играла Смерть. "Ух, и страшно! — говорили в бараках. — Какая она: я тебя, говорит, успокою... укрою... ух, лиса!"

Эта инсценировка "Теркина" покатила дальше по лагерям — может, и сейчас ее где ставят? Как, я уверена, и сейчас ставят где-нибудь на Воркуте "Билет в Ейск" — неведомо чья инсценировка по фельетону Ильфа и Петрова, которая переходит от поколения к поколению заключенных "с голоса", постепенно обогащаясь новыми подробностями.

Татьяна Григорьевна и меня зачислила в самодеятельность, хотя единственным моим пропуском на лагерную эстраду было и осталось знаменитое "молдаванеску". Она же заставила меня сделать следующий шаг: "Надо что-то придумать. Нельзя же всю жизнь танцевать "молдаванеску"".

И я стала суфлером. Чистюнька наша была далеко от Москвы и Ленинграда и вообще от всякой железной дороги — нравы там были патриархальные, помещичьи, начальство давало освобождение артистам чуть не на три дня. Это была одна из причин, по которым в артисты рвались. Но только одна из причин.

Перед спектаклем артисты говорили мне: "Руфа, ты подсказывай, чтобы слышно было. Войди в положение — роль-то когда учить?" Я вошла в по-

ложение. Но перестаралась: из зала кричали: суфлер, потише! Все-таки Татьяна Григорьевна меня из суфлеров не погнала, хотя неудержимо смеялась, вспоминая возмущение зала.

Она тогда стала смеяться чаще, одеваться светлее: какой-то белый хлопчатобумажный свитерок вытащила из своего тощего скарба. Вот тогда-то мы и стали замечать в ней что-то новое, молодое... Человек, который потом стал ее мужем, был в том же лагере, но никто ничего не знал. Даже ее артисты, которые ходили за ней, как приклеенные, в вечном детском ожидании "интересного". А интересно им было все, что шло от Татьяны Григорьевны. Впервые в жизни они с таким соприкоснулись, бедные сибирские ребята из медвежьих углов. В этом лагере сибиряки с бытовыми статьями преобладали, особенно среди артистов.

Татьяна Григорьевна учила не уча. Она даже произношение не поправляла, разве что ударения. Артисты говорили кто по-северному, кто по-южному (в Сибири много украинцев). Татьяна Григорьевна, впрочем, и сама "ге" произносила по-украински — может, по вольности дворянства, у них в семье так было принято. Но на нашей сцене эта разномастная речь звучала хорошо и правдиво, и потом на воле единое театральное произношение со сцены и с экрана меня раздражало...

Она и мизансцен не придумывала — сами артисты договаривались: "Значитца, я, этого, вот тут встаю и говорю..." — "А чего вставать-то, ты и сидя можешь, небось — услышат!" И правда — все слышали.

В пятьдесят первом году в середине лета мы с Татьяной Григорьевной расстались — я попала в этап на Дальний Восток. Думала — никогда не

встретимся. Ей оставалось всего три года, мне — семь. Кто тогда мог думать, что умрет бессмертный Сталин? Мы освободились почти одновременно и встретились в Ленинграде. Она стала учить английскому языку моих детей — они теперь ее благодарно вспоминают.

Встречались редко — жизнь пошла у каждой своя. Первый год у нее был трудный: все было зыбко, а она была не реабилитирована — просто отсидела срок. Но постепенно звезда ее стала восходить: издан был перевод Дон-Жуана, ее инсценировка пошла с успехом в Ленинградском театре комедии, и поселилась она с мужем в Пушкине, и в Союзе писателей стала руководить молодыми переводчиками. И опять я увидела, как ученики за ней ходят, незаметно учась у нее, в то время как им казалось, что они учат ее, такую неприспособленную, жить. Между тем, она была приспособлена к жизни, только с необычной стороны: со стороны отдачи, а не приобретательства. Она умела отдавать, это и был ее способ жизни — и тут ей не было равных.

Она умерла 7 ноября 1976 года.

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ГРИНА

Осень и зима 54 года были для нас временем пиров. Пирыв были в нашу честь — мы вернулись из лагеря. Впервые за двадцать лет люди стали возвращаться — ВОЗВРАЩАТЬСЯ — не на сто первый километр, а домой — и в 54 году это все еще были "отдельные случаи", и те, кто ликовал по поводу возвращения друзей, чувствовали себя — ну, не героями, не храбрцами, конечно, а приобщенными. Люди тогда впервые позволили себе, ликуя по неутвержденному партией и правительством поводу, некое гусарство и чувствовали себя красавцами, ибо еще Козьма Прутков говорил: "Если хочешь быть красивым, иди в гусары". Легкое чувство опасности их все-таки не покидало. Как сболтнул один наш тогдашний приятель, довольно известный физик: "Ну, а если опять начнут сажать, то понятно: вы поплывете первыми". Если мы "поплывем", то тем, кто с нами якшался, не сдобровать. Эх, а все-таки — хоть день, да мой! И шли пирыв, и рассказы, и песни, лагерные песни, с бессмертного "Магадана" начиная. Будущие барды тогда еще только слушали...

И однажды на пиру — точнее, когда мы уже расходились, ко мне подошла женщина, на шумном застолье выделявшаяся своей тишиной, и сказала:

— Вот, ты упомянула Иру Назарову. Мы с ней вместе учились, я ее хорошо знаю. Когда будешь посылать ей посылку... От нас что-нибудь...

Сунула мне сотню и продолжала:

— Есть один человек, который... В общем, я тебе сейчас объяснять не буду, ты прочтешь... Он написал роман... Я тебе принесу. А потом тебе все про него расскажу. Его зовут Всеволод.

На другой день она принесла роман — три толстых общих тетради в черных клеенчатых переплетах, исписанные мелким, но вполне разборчивым почерком.

Ира была моей ближайшей подругой. Мы сошлись с ней в лагере — я еще в поле, на прополке ее заметила. Она и там, в сизом лагерном платье, казалась девочкой из хорошей семьи. И — приятный голос, интеллигентная речь. Потом я услышала, как она поет "Ласточку" Гурилева, потом оказалось, что ее место — на соседней с нами вагонке (вагонка — это двухэтажные нары, но не сплошные, а вроде купе — счастливая находка какого-то лагерного безымянного изобретателя). В общем, мы подружились: ленинградки, универсантки, почти ровесницы... У нее была статья "измена родине", двадцатипятилетний срок, и никого на свете. В Ленинграде, правда, жила тетя Оля, сестра матери. Но ей она так никогда и не написала — то ли из гордости, то ли ее берегла; тетка так настрадалась из-за частички "фон" перед своей девичьей фамилией, что всю жизнь всех и всего боялась. А тут — Измена Родине! Ира работала в немецком госпитале санитаркой и эвакуировалась с госпиталем в Германию. Мало того — вышла замуж за немца!

Когда я освобождалась (это произошло внезапно и на пять лет раньше, чем полагалось), я взяла тети-Олин адрес, преодолевая Ирино сопротивление:

— Зачем? Только напугаешь ее. Она давно меня уже похоронила. Да и вообще — зачем? Никто меня там не ждет, никого не осталось...

Ей предстояло тянуть еще восемнадцать лет.

Тетя Оля — высокая видная старуха в уложенных сединах — в комнату меня не пустила, разговаривала на площадке. — Это ужасно, ужасно! — повторяла она. — Но кто же мог знать? Кто же мог подумать?

Я сунула ей Ирин адрес — мне почудилось, что он обжег ей руку. Похоже, Ира была права — никто не ждет, никого не осталось...

И вот — "один человек"...

Я стала читать тетради, одну за другой подряд.

Сначала шло о предках (автор явно был человек с предками, его фамилию я помнила по примечаниям к классикам); потом о себе, своей растерянной юности "чуждого элемента"... Завод, где надо было "повариться в рабочем котле". Наконец университет. И — любовь. В университетской библиотеке девушка весело попросила книжку Александра Грина.

Надо понять, чем был для нас Александр Грин.

Он не был запрещенным писателем — он не был изруганным писателем — он как бы не существовал. В школах проходили "Бруски" Панферова, вне школы читали "Первую девушку" Богданова, Алексея Толстого, Эренбурга — о них спорили, их объясняли, их поругивали или восхваляли. Они были — признанная литература. Джек Лондон — и переводные романы — давали какой-то таинственный витамин, увеличивающий сопротивляемость организма. Но Грин? Станный мир Грина? Не русский, не переводной, не фантастический? Зыбкий и плотный? Бесспорный и невероятный? Невиданно — знакомый? Из его романов выходили, как из-под зеленой океанской воды, надышавшись какого-то особенного кислорода. Все там сбывалось непрямо, и по ка-

ким-то особенным законам, и неудачник, которому полагалось плакать, не плакал, и не вознаграждался, но был чем-то счастливее удачника... Его сказочная этика, которой он мерил — и нас заставлял мерить — нашу жизнь, была как вода в пустыне. Можно было влюбиться за то, что "она тоже любит Грина".

"...Девушка весело говорила: Нет, это я читала, и это... Неужели больше нет? Как жаль!"

Как жаль. В шестидесятые годы Грина издали — полное собрание сочинений. Сделали фильмы. Он стал безопасен — его сочли безопасным. И тогда пришел Булгаков. "За что это нам?" — изумлялись ошарашенные люди.

В нищие тридцатые годы такое изумление вызывал Александр Грин.

Я читала черную тетрадь и только на пятнадцатой странице поняла, что девушка, любившая Александра Грина, была Ира. Автор уехал в Старый Крым — как теперь сказали бы, "в Гриновские места", — а возвратившись узнал, что на университетскую экспедицию в Теберде напали какие-то предприимчивые горцы. Эту историю я знала — Ира мне ее рассказывала: она участвовала в этой экспедиции.

Тогда я вернулась к той странице, где было про девушку в библиотеке. Конечно, я не могла узнать ее по его описанию: девушка с челочкой, с серебристым смехом, с серо-синими, казавшимися темнее от густых ресниц, глазами (тогда непременно писали про ресницы и цвет глаз). На моей памяти не было ни челочки, ни серебристого смеха, да и глаз серо-синих тоже, считай, не было, потому что всегда были очки — а какой там цвет за очками иди разбери! Потому я и перелистнула эти страницы, что дальше шло интересное: как исчезали портреты

профессоров со стен длинного-длинного университетского коридора.

И до самой пятнадцатой страницы не было ее имени — может, он и сам узнал его только после истории с бандитами.

А потом он стал собирать по крохам ее жизнь, ее прошлое, ее привычки, связи. Много было мне известно, но было и новое, и неожиданное. Я узнала, что Ира была веселая, непринужденная, свободная, но вместе с тем странно-пугливая. "Я не смел смотреть на нее", — писал автор, — "потому что чувствовал, что ей это неприятно, она словно боялась чего-то... Даже когда она не могла видеть меня — я сидел на лекциях в актовом зале далеко позади, — я чувствовал, что она, всегда такая непринужденная и естественная, начинает беспокоиться, ежиться... И тогда я начинал смотреть в затылок тому, кто был всегда с ней рядом, — я не ненавидел его, я просто думал, понимает ли он, как счастлив. Но скоро я понял, что она его не любит, что он даже не особенно ей нравится. По ней все видно было, никогда никакого притворства, воспитанность исключает притворство. В этом была ее сила. Энергия правды и простоты".

Потом был университетский вечер, на котором Ира должна была петь.

"...Признаюсь, я боялся. Я не люблю "вокал" — когда широко разевают рот, как у ларинголога, и тянут а-а-а! И эти обязательные жесты... В общем, я трусил ужасно, пока не вышла Ира, в белой блузке, которой я никогда не видел, и пока я безнаказанно смотрел на нее в белом, она запела и я понял, что зря так боялся: она пела просто, как птица — и про ласточку"...

Ну, как же! "Вьется ласточка, сизокрылая, над

окном моим, над косящатым"... У Иры был легкий, летучий голосок. В лагере ее пение любили и на концертах усердно хлопали. "Ласточка", "Мальчик из Карабаха" — Ирин репертуар. Но "Мальчика из Карабаха" он уже не знал.

Вероятно, он и раньше писал стихи, но Ирино пение дало неожиданный толчок — он начал переводить "Божественную комедию". "Я засел за Данте. Ради Иры. Нет, конечно, я не думал, что завоюю ее, совершив переводческий подвиг; если бы я такое надумал, она бы равнодушно сказала: герой, я не люблю тебя — и была бы как всегда правдива; и посвящения ставить — хоть буквы — я тоже не собирался. Но ради того, чтобы она прочла..." Он перевел две песни и отнес в издательство.

Через некоторое время его вызвал редактор: "Это неплохо, неплохо, местами даже очень, но я должен вас огорчить: вы, вероятно, не знаете, что у нас есть договор на перевод "Божественной комедии". — Разрешите спросить — с кем? — С Михаилом Лозинским".

Потом было Ирино замужество: "я увидел его — он зашел за ней в университет. Они стояли в коридоре и смеялись чему-то — он такой, каким я никогда не буду: веселый! Я видел, что она счастлива, она тоже посмотрела на меня". "Догадывалась ли она о моем чувстве? Да полно, конечно же догадывалась, больше чем догадывалась — знала. И, может быть, поэтому и боялась меня, Боже мой. Но я не смел к ней подойти, даже чтобы просто поздравить с замужеством, не говоря о том, чтобы объяснить, объяснить, что бояться меня не надо..."

"Через год Ириного мужа арестовали", — писал он. "Поскольку Ира не была комсомолка, то ее не трогали, не исключали, не заставляли каяться: у

них было слишком много персональных дел”. (Я обратила внимание на это “у них”, совершенно естественно соскользнувшее с пера.) Он и тут не посмел подойти к ней, потому что это означало бы воспользоваться... “Она стала носить очки, и я не видел ее глаз”...

Кончалось все на том, как он, раненый, в госпитале, получил письмо от однокурсника. И было там: “Помнишь ли ты Ирину? Ее в марте вывезли на Северный Кавказ, и теперь никто не знает, что с ней стало. Вероятно, погибла”.

Роман кончался словами: “Я не верю, что она погибла”.

Через несколько дней он пришел ко мне — та тихая женщина дала ему мой адрес. Он был высокий, худой, с проваленными щеками, совершенно седой, и, к сожалению, почти беззубый. Лицо скорее даже интересное, из тех лиц, что русским кажется “хищным” — орлиный нос, сильные набровные дуги, глубоко посаженные и все-таки выпуклые, как у большой птицы, серые глаза. Только взгляд был скорее робкий — неожиданно-робкий, ускользящий...

Он говорил шамкая — из-за беззубости, негромко, озабоченно-быстро, словно стараясь отделаться от необходимости самому говорить, и глядел в сторону. Потом, когда я стала ему рассказывать о ней, он забывался и смотрел на меня в упор (мне казалось, что он не меня видит), потом, опомнившись, отводил глаза снова. Я рассказала ему Ирину “дело” — все как было, и про ее замужество, и про то, как ее арестовали в Советской зоне. Рассказала, что заходила к ее тетке.

— Я ее знаю, — сказал он. — Она испугалась?

— Она страшно испугалась.

Он задумался. Я заговорила было о его рукопи-

си — он посмотрел на меня и улыбнулся в первый раз, младенческой беззубой улыбкой. "Рукопись... Она свое дело уже сделала" (я поняла: привела его к Ире). И добавил: я ведь не для печати писал.

Потом он спросил:

— Как вы думаете, — можно что-нибудь сделать? Добиться пересмотра дела? Или амнистии?

— Не знаю, — сказала я. — Честно — не знаю. Но попытаться нужно.

Это был еще пятьдесят четвертый год и Ирино дело всем казалось безнадежным.

— Что я должен делать?

Я сказала — пойти к Ириной тетке, нажать на нее, чтобы обратилась к адвокату, сказала — к кому. Что, конечно, адвокату придется платить, но не так уж много, я думаю, что адвокат — хороший.

— И мне можно — к адвокату?

— Ну, конечно, — сказала я.

Он был нищий — это было ясно. Нищий и неухоженный: какой-то старенький подростковый пиджачок, даже ему тесный, обтрепанные брюки, запла- танные ботинки. И галстук, из тех, трикотажных, что в тридцатые годы назывались "самовязами".

Он существовал какими-то крошечными рассказами о птицах в детских журналах, случайными корректурами; собирал материалы для известного тогда орнитолога — орнитолог его ценил и старался подкармливать. Все это мне потом объяснила та самая тихая женщина. — "Но ему так трудно помочь, знаешь? Он ведь был женат, недолго, на очень хорошей женщине, она его обхаживала, обшивала, обстирывала — ушел. Кто его знает, почему? У него ведь не спросишь. Романтическая натура. Но в наше время..."

Он был нищий — не картинно-нищий, не вызываю-

ще-нищий, не униженно-нищий, не впавший в нищету, не доведенный до нищеты; он был человек из тридцатых годов. В начале тридцатых годов — в первую пятилетку, — таких было сколько угодно, мы все были более или менее такие; после войны, когда барахолки и комиссионки были набиты немецкими тряпками "из посылок" и даже в магазинах выбрасывали то тюль на окна, то заманчивое женское белье, то плащи-"пыльники" — он был анахронизмом. Он отсутствовал в сегодняшнем дне, он жил там, в тридцатых годах, в карточной системе, из которой можно было бежать только в романы Александра Грина. В той карточной системе непринужденно и неизменно жила сама по себе Ира, девушка с синеватыми глазами под челкой, и Вселенная катилась вокруг нее неизвестно куда, через террор, войну и разруху, и все равно ничего не менялось, потому что он сумел остановиться во времени навсегда, — то есть остановить время. То время, которое он для себя выбрал. А от пятидесятых годов ему ничего не нужно было — ни пыльника, ни "Нового мира" с Овечкиным, Гендряковым и Троепольским. Ира тридцатых годов была живая — Ира пятидесятых принадлежала царству теней.

И вдруг — ее голос из царства теней, не голос — отзвук голоса. И ее можно оттуда вызволить, попытаться вызволить. Эвридика. Не Беатриче — Эвридика.

— ... И мне можно — к адвокату?

Он пошел к адвокату и заинтересовал его необычайно. Заинтересовал не собой — Ирой. Адвокат был "человеком" во все годы — он защищал нас на суде, он и вызволял потом из узилища — и нас, и других, и почти бесплатно. Он заслуживает отдельной истории, наш адвокат Александр Иванович Ку-

лаков, которому хороший писатель надписал на книге:

Дорогой наш Кулаков,
Защищай нас, дураков.

Он взялся защищать Иру. То, что в 54 году еще казалось совсем безнадежным делом (сотрудничество с немцами!!! — замужество за иностранцем!!!), в 55-ом уже сулило реальные возможности. Сам Кулаков, поначалу, не был ни в чем уверен — качал головой и бормотал: попробую, но не ручаюсь, не ручаюсь, не ручаюсь... Бормочущий адвокат — явление странное, — но факт остается фактом: его подзащитные первыми стали возвращаться домой.

Ириным делом он увлекся. Может, и не делом, а задачей: вернуть девушку ее косноязычному поклоннику — так он, вероятно, себе эту операцию представлял. Разговаривая с нами, он тревожился:

— Не знаю, не знаю, не знаю... Даже если мы выиграем это дело... Еще посмотрит ли она на него вообще... Хоть бы костюм себе раздобыл... или уж не знаю... и зубы надо вставить, обязательно зубы вставить... ну, что это — без зубов?

В лагерях срок считают так: зима-лето, зима-лето, зима-лето... Прошла зима и прошло лето и — Наступил День.

На перроне нас было восемь. Над всеми горделиво возвышалась тетя Оля в маленькой шляпе на белоснежных волосах, похожая на гренадера армии Фридриха Великого; рядом — две старушки-бестужевки, которых я знала по Ириным рассказам — тетя Оля и тетя Верочка; молодая женщина с кроtkим лицом — подруга детства Танечка. Все они были из одного мира — незнакомого нам мира петербургской дворянской интеллигенции; мы были приезжие — я из Одессы, муж из Москвы, Кулаков

(да, и Кулаков пришел на вокзал — до того ему было интересно!) — из Вятки, ныне города Кирова. Мы стояли вместе, ждали вместе, но как-то не смешивались: они были одна группа, мы — другая. Всеволод был тут же — но, хоть на его руку опиралась тетя Оля, был сам по себе — между группами, не как связь, а как разъединение. Кулаков поглядывал на него украдкой и от нетерпения переминался с ноги на ногу. То ли Иру он так юношески-нетерпеливо ожидал, то ли момента встречи.

Я не могу вспомнить, как вышла Ира — помню только ее лицо, блеснувшее за стеклом подходящего вагона.

Вокзалы тех лет, перроны тех лет... Рыдающие старухи, расставшиеся десять, семнадцать, восемь лет назад — вчера... Особенно в Москве, все возвращались через Москву. Ярославский вокзал, сорок первый поезд, шесть сорок утра — старухи и дети на перроне, — и худые, темнолицые — вечный зимний загар работяг — люди, в лагерных телогрейках, с деревянными чемоданами вылезают из вагонов; мир перевернулся — мир выпрямился — мир опомнился — мир сошел с ума...

Я не помню самой встречи. Слышу: "Боже мой, Ира!"... "Боже мой!"... И вижу только, как она пожала руку Всеволоду и, маленькая, закинув голову, посмотрела ему прямо в глаза. И улыбнулась.

А Кулаков был не доволен.

— Не понимаю, не понимаю... — говорил он нам потом. — Какой-то он... Я думал — он к ней кинется. А он... Стоит себе и стоит в сторонке, и стоит, пока она не подошла... А ведь прилично выглядел, правда, он прилично выглядел? (Откуда-то появился у Всеволода серый костюм — не новый, что называется не блеск, но вот именно — приличный, —

не Кулаков ли дал? — и темно синий дождевик, уместный в октябре, и руки из рукавов не торчали.) Я на него смотрю, понимаете, и хочу знак, понимаете ли, подать: подойди, мол — а он стоит, ничего не видит, вот заметно, понимаете, что ничего он не видит, даже ее не видит, где-то там витает...

Но он поехал с Ирой домой, к тетке. На следующее утро Ира пришла ко мне. Приход ко мне тоже был вроде возвращения — во всем огромном городе я одна была частью той, никому из них, людей детства, неведомой жизни, от которой она и за девять дней пути не только не освободилась, но даже чуть-чуть затосковала. Последнее время она была бригадиром, от нее зависели тридцать человек, и еще появился интеллигентный агроном, недавно освободившийся, с которым она закрывала наряды, мечтавший раздобыть "Записки из Мертвого дома" ("А где взять? Ведь это же не переиздавалось, верно?"), и кому-нибудь надо позвонить, чтобы хоть свой экземпляр ему послали — он вернет! И еще надо было рассказать, как все было, как там провожали, как она сказала: "девочки, всем за мной итти!" (этикет, обряд и заклинание), как сломала ложку, выйдя за вахту — магическое действие, обязательное для всех, кто в последний раз выходит — кому удалось в последний раз выйти — за вахту. А там брочка — "представляешь, брочка!" и расконвоированный конюх Анна Петровна ("она еще не освободилась, Анна Петровна?" — "месяц остался, уже не ест, не пьет"...), везет ее на комендантский, а потом в райцентр за паспортом ("а в Благовещенск?" — "Ну, туда уж я на попутке")...

Ира пришла ко мне изящная (сколько лет строгой

диеты!), нарядная — в лиловом платье с пуговицами-бубенчиками, в новом плаще и пестрой косыночке, такая здешняя, такая ленинградская, петроградская даже — и сразу же началось "а помнишь?", "а что Мира?", "а что Андриевская?" — в общем, картина возвращения, на все времена описанная Гоголем. Были хорошие новости, и плохие, и новости типа "кто с кем?" и разговор про агронома: "Ты его знала, кажется?" И тут я спросила, почему никогда она не рассказывала мне про Всеволода.

Она вздохнула и развела руками.

— Не вспоминала никогда, вот и не рассказывала. Но вот удивительная вещь, за несколько дней — если точно, так дней за десять — перед тем, как пришло его письмо... Мы сидели в закутке у Сарры — помнишь Сарру? Да ну, это я просто так... В общем, у Сарры — я, она, Мирра Никитина и еще одна — после тебя приехала, ты ее не знаешь, не с воли, а из Ветлага был этап маленький, я тебе не писала... Да, так вот, знаешь, как бывает, стали мы рассказывать про поклонников — у кого были молчаливые поклонники. И я вдруг его вспомнила. Стала рассказывать, а в общем — как-то и нечего было рассказывать — ну, как его боялась, как он вечно был где-то недалеко и никогда не подходил — и, главное, как я его боялась...

— Но почему — боялась?

— Они тоже спрашивали, я не могла объяснить. Он был не то, чтобы страшный... Нет, он был какой-то страшный... Сарра сказала, что когда мужчина влюблен, а ты к нему ничего не чувствуешь, то ты его же за это презираешь. Не знаю, я его не презирала, я просто боялась до ужаса. Понимаешь — как-то тяжело мне становилось, когда он смотрел мне в затылок — он вечно садился позади, далеко по-

зади, но я все равно чувствовала... Нет, он был страшный...

— Прямо Аполлон и Дафна...

— Добегалась Дафна, — стала деревом. Нет, знаешь, Аполлоном он во всяком случае никогда не был, уверяю тебя! В общем — вот. А через десять дней от него письмо.

— То-есть, в тот вечер он то ли писал его, то ли...

— Нет, письмо уже шло — я посмотрела на дату.

— А письма ты не испугалась?

— Как тебе сказать?... Охнула — это верно.

— Ну, и как теперь?

Ира пожала плечами:

— Не знаю. Не боюсь, конечно... Не знаю...

В следующий раз они пришли вместе — она и он. Мне поверилось, что, может быть, мало ли что, а вдруг... Ира была естественная, весело-оживленная и слегка им командовала: "снимите ту книжку... принесите мою сумку" — он доставал, приносил, все время улыбался и что-то шамкал...

Позвонил Кулаков. Рассказал: "Приходили. Вместе. Его — просто не узнать, просто не узнать! А она? Как вы думаете?" Я сказала:

— Может быть... Дай Бог, чтобы...

— Серый костюм, — сказал Кулаков. — Что значит — Серый Костюм! Не узнать, прямо не узнать! Еще бы зубы...

Ира уже работала, делала какой-то перевод для НИИ и ее даже обещали взять в штат. В этом НИИ хорошо помнили и Иру, и ее знаменитого дядю-профессора, мужа тети Оли; могли, очень даже могли взять на фоне общего покаянного настроения в стране. Мы на этом фоне тоже начали работать. В результате мы недели две не виделись.

Наконец, Ира пришла — одна.

— А где?.. — спросила я.

— Все — ответила Ира. — Не могу! Ни за что! Нет и нет!.. Опять все то же, что раньше. Он меня... Я его видеть не могу! Нет!.. Невозможно!.. Лучше сразу головой в прорубь... Не могу...

Через год она вышла замуж — в третий раз, и опять по любви. Муж был остроумец; видимо, им было весело вдвоем. Кулаков, обсуждая все это с нами, сказал:

— Жаль, конечно... А все-таки я ее не виню.

— Да ну? — спросила я иронически.

— Нет, не виню, — сказал он твердо, не замечая иронии. — Моя жена говорит — "неблагодарность!" — я ей рассказал, уж очень история такая... необычная история, романтическая, словом, история. Она их, конечно, не видела. Ну, а если бы... Ну, скажем, был бы он такой, знаете, преуспевающий, а? Это она спросила, конечно.

— Тогда... Тогда это был бы не он.

— Вот-вот... Я в этом роде и ответил — в смысле "если б да кабы". Он ведь и раньше ей не нравился, еще когда они учились вместе?

— Нет, не нравился.

— Вот, видите. Женщины, они... Бывает, можно уговорить, бывает — нельзя. А этот новый муж — какой он?

— Да самый обыкновенный.

— Вот-вот. Это, значит, ей и нужно было. Чтобы самый обыкновенный, после всего пережитого. Тоже, ведь, не гребет деньги лопатой?

— Гребет. Сто двадцать в месяц огребает. Младший научный без степени.

— Да, — сказал Кулаков, помолчав. — Вот видите.

Я видела. Я видела, что у этой романтической истории счастливый конец. Не такой, как в сказках: сыграли свадьбу и стала жить-поживать, добра наживать. По другому сложилось. Хоть и боялась Ира одиночества, хоть и осень ее была не за горами, — а все-таки ломать себя не стала и на обман не пошла. Себя ли обманывать, другого ли... Думаю, она себе в этом отчета не отдавала, просто не могла, потому что лжи в ней не было.

А Всеволод был Орфей, поэт. Я думаю, он все понимал, по-своему, то-есть куда глубже и вернее, чем я. Недаром же в его черных тетрадах все время повторялось "искренность, непринужденность" и даже со ссылкой на Толстого: "энергия правды и простоты". Она его зачаровала не тем, чем казалась, а тем, чем на самом деле была. Случай редкий. Я вспоминала, что он о ней писал. Там не было романтической принцессы — а уж что тут можно было развести! Была веселая студентка с челкой, которая его не любила и не могла полюбить; он и не мечтал. Он мечтал совершить подвиг — перевести Данте — но не собирался связывать ее даже буквами посвящения. Она твердо стояла на земле, она никуда не уносилась сама — это он уносился, и понимал, что она себе верна, и не негодовал на нее за это.

А подвиг свой он совершил — помог Эвридике вернуться на землю.

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ

Осенью 49-го года распахнулась дверь нашей общей камеры в Большом доме и вошла женщина поражающей красоты. Она была в сизом от возраста ватнике, в такой же сизой юбке поверх брюк, с резиновыми, повидавшими виды, сапогами через плечо: явно — лагерница; привезли на пересуд, или на опознание. Что-то она нам сказала вроде приветствия, но мы все, все пятнадцать женщин, разных возрастов и судеб, смотрели на ее загорелое лицо с изумлением. Ни лагерный загар, ни дорожная усталость, ни связанные тесемкой давно невытые косички, ни пыль, ни худоба, ничего не могли с этим лицом сделать, оно поражало. Черты были крупные, определенные, почти мужские: орлиный нос, густые черные брови и ресницы, огромные серые глаза — только рот был маленький, выполненный, разумеется, в форме лука.

Мы узнали, что ее зовут Наталья Львовна, что ей сорок три года, что в лагере она уже больше трех лет, что дочь ее сидит тоже, только срок у дочери десять, а у нее — двадцать, и что сидит она не "за немцев", как большинство наших женщин, а "за англичан". За союзников то есть. Они в войну оказались в Архангельске.

Девичья фамилия Натальи Львовны была Брюн, и она ее никогда не меняла. Вообще-то фамилия была длиннее: Брюн де Сент-Ипполит. Но и в этом длинном виде она нам ничего не говорила и не объясняла этой орлиной красоты. Наталья Львовна говори-

ла, что среди ее предков были какие-то грузины — может, и оттуда. Одна бабушка была Лансере, другая — Модзалевская... Эти имена кое-кто из нас слышал. Вообще, в рассказах Натальи Львовны — мы все в этой камере о себе что-нибудь да рассказывали — попадались невероятные, как она сама, словосочетания. Например, "портреты предков". Впрочем, это, кажется, было и в ее стихах, и только это и запомнилось. Еще, помню, она как-то под разговор вылепила из хлеба — в общей камере тогда хлеба хватало — маленькое гнездо с яичками и птичку на краю гнезда. У нее было много талантов, но в наших глазах они были какими-то придатками, — притом сами собой разумеющимися — к главному: к ее красоте.

Я пробыла в той камере еще дней десять, а потом попала на пересылку и после этого никогда больше не видела Наташу (отчество она потеряла у нас довольно быстро). Но память о ней осталась накрепко — не сердечная, а зрительная. Случалось раз в несколько лет и услышать о ней: еще в лагерях — от архангелогородки, которая тоже сидела "за англичан". "Наталья Львовна!" — говорила она благоговейно. И разводила руками — слов не хватало. От какой-то дамы в Ленинграде, потом: "Странно, откуда вы могли знать Наташу Брюн? Какой у вас широкий круг знакомств!" Я поняла, что это знакомство меня не украшает. И еще — когда в Русском музее, в 60-х годах, была выставка Зинаиды Серебряковой. В книге отзывов (мы все тогда внимательнейшим образом читали книги отзывов) я увидела: "Зинаида Серебрякова моя родственница, наша бабушка Лансере"... И подпись: Наталья Брюн де Сент-Ипполит. Значит, вышла, значит, дожила, вернулась в Ленинград.

Я порадовалась за нее, но не стала разыскивать — жизнь уже шла густо, близости у нас никогда не было, пусть останется образом...

И вдруг — более чем через тридцать лет — образ ожил опять, и портреты предков зашевелились. Я читала воспоминания Александра Бенуа. Бенуа, Кавосы, Лансере... Когда дошло до Лансере, я уже знала: скоро, скоро, вот-вот, совсем за углом. И правда. Глава так и называлась — "Брюны". И больше всего — про Левушку Брюна, отца Наташи, который (я это из Наташиных рассказов помнила!) стал замечательным агрономом. В конце главы сноски: пришло из Советского Союза известие, что Левушка Брюн умер в 1948 году. Не помню, так ли это, помню, что революцию он, и правда, пережил.

И когда я читала великолепные эти "Воспоминания", вернувшиеся в Россию, напечатанные в России, из-за того, вероятно, что встретила там фамилию "Брюн" я почувствовала, что они — словно корректив, нет, коррелят — нет, теневая история, теневой комментарий нашей жизни. Как бывает в правительстве "теневой кабинет", который не то что главнее не-теневого, но связан с ним единым кровообращением.

Эта "теневая" история захлестнула нас с головой с тех пор, как мы попала на запад. Люди и книги. Судьбы рассказанные и судьбы угаданные. Мемуары и газеты. То, что было при нас, и то, что было до нашего рождения. То, что мы знали из учебников — и то, о чем никогда бы из них не узнали. Поправки, поправки, поправки... И что-то еще, какая-то не сразу осознаваемая линия.

Сначала мы бросались на то, что "сейчас". А, так вот что сейчас пишет этот писатель! А, вот

из-за чего весь этот сатанинский печатный шабаш поднялся, когда мы еще и не помышляли об отъезде! А, вот оно что!

А потом дошло и до "Современных записок". Семьдесят книг. За тридцать лет. Каждая книга — созвездие имен. Созвездие ли? Есть имена, которые не монтируются в прямых комбинациях — Гиппиус и Цветаева, например. Но каждое — сверкает. Звезды разной величины, разной удаленности, разной интенсивности, но несомненные звезды, звезды, космические, до сих пор не остывшие солнца. Имена — чуть не сказала "названия" — одних мы знали с детства, о других впервые услышали, или слышали смутно.

Мы набросились на них жадно. Словно все, что было читано раньше, были ручейки, притоки этой большой и чистой реки, которая текла так долго, так полно. То были разрозненные номера — в одном обрывался Сирин (еще — Сирин!), в другом начинался Зайцев (школьная триада: Бунин-Зайцев-Шмелев), и были "Мать и Музыка", в тех самых страницах, в том самом наборе, который она сама впервые видела, кумир наших шестидесятих годов — Марина Цветаева.

И совершенно незнакомые имена: Газданов, Бицилли, Бем. Газданов (кто? откуда? — "Вечер у Клэр"): похоже писали в Ленинграде, в двадцатые годы забытые — или насильно вытолкнутые из памяти — Добычин, Скалдин. Бем — рецензия на Шкловского "Поиски оптимизма". Бицилли — рецензия на Бахтина, на книгу о Достоевском. В отделе "критика и библиография" постоянных авторов — человек пять-шесть: Бем, Бицилли, Цетлин — реже Алданов, Вейдле, Мочульский, Ходасевич...

И может быть, именно этот отдел больше всего

объясняет. И может быть, именно поэтому в него вникаешь, "вчитываешься".

Они называли себя "Зарубежной Россией" — и что тут говорить, одна русская литература или две, или, может, семнадцать, когда у этих и сомнения не было, просто — зарубежная Россия и все. Они рецензируют друг друга. Например, Алданов пишет о М. Слониме, выпустившем в 1933 г. книгу "Портреты советских писателей": "Автора этого ценного труда обычно упрекают в чрезмерно благосклонном отношении к советской литературе. На наш взгляд, в этой книге он, напротив, несправедлив к некоторым видным ее представителям". Это Алданов пишет, не подавший руки Алексею Толстому, когда тот таким победителем приехал из своего советского имения в Париж. Строгий был человек.

Да, они рецензируют друг друга. Вот так, например, пишет Вейдле о Ходасевиче (книга "О Пушкине"), сокрушаясь, что это еще не та полная книга, "которую только Ходасевич и мог бы нам дать" (не успел!): "Если он этой книги не напишет, неизвестно, кто и когда сумеет ее написать..." А вот как Ходасевич говорит по поводу книги Марка Вишняка о Ленине: "Мне кажется, что похвалы заслуживает и та объективность, которую М. В. Вишняк проявляет по отношению к своему герою, бывшему при жизни и оставшемуся после смерти его политическим врагом". (Вишняк был эсером и членом Учредительного собрания.) Они сохраняют тон хорошего общества, простите за старомодность. И Кускова, о том же: "нельзя не указать... высокоценную сдержанность тона... авторов" (а авторы писали о том, что говорили в Московском университете хозяева жизни после Октября). Алданов мог не подать руки Алексею Толстому при встрече, но по поводу

первой книги "Петра", вышедшей в Берлине, он пишет: "Об огромном таланте А. Н. Толстого не приходится и говорить... Талант и достоинства его целиком от Бога, недостатки в значительной мере от быта".

И осторожно остерегает: "Едва ли Толстой поставил себе задачей "развенчание" огромной исторической фигуры". Отметил стилистические приемы. И заключил, что только по выходе остальных томов можно будет судить о романе, принадлежащем "одному из самых талантливых русских писателей нашего времени".

Это — о бывшем "своём", переметнувшемся. Но, оказывается, не было ничего яркого в незарубежной русской литературе, чего бы не отметили здесь. У меня под рукой всего восемь номеров — не отобранных, а в самом деле случайных: за 30, 33, 34, 36 и 37 год — не подряд. Вот кто в них рецензируется: О. Савич (не всегда, оказывается, он был переводчиком!), Андрей Белый, Борис Пастернак, Виктор Шкловский (два раза), Николай Тихонов, Михаил Бахтин, Михаил Казаков. Ну и "Петр Первый", уже цитированная рецензия. Вот что пишет Бем о пастернаковском "Втором рождении": "Перед нами не только крупный поэт, бесспорно, самый значительный поэт среди нас (разрядка моя — Р. З.) живущий, но и единая "поэтическая личность". Разбор стихов, тонкий и умный — на уровне самих стихов. Тот же Бем, разбирая "Поиски оптимизма" Шкловского, видит: "Литература в России переживает исключительно трудное время. Борьба приходится уже не только за содержание произведения, но и за его форму. Мы все знаем, как в борьбе за содержание писатель находит все же выход, как создается между писателем и чита-

телем взаимное понимание с намека, с полуслова. Насилие над содержанием литературы ужасно, но не смертельно. Но насилие над формой, как это ни странно, для литературы еще страшнее. Ибо расторгается самая ткань литературы. И следить, как запретная литературная форма пробивается сквозь насильственно ей навязанные тиски, необычайно мучительно". Это написано с подлинным со-страданием. Обе рецензии — в одном номере журнала (N 51, 1933 год).

Еще одна рецензия — на Бахтина, по которому сегодня учатся во всем мире. В 1930 г. в "Современных записках" о нем пишет Бицилли: Это, скорее, изложение "замечательного по тонкости анализа исследования Бахтина"; указана связь его с работами Чижевского и Бема, напечатанными в зарубежной России; говорится о том, что отныне философская и художественная проблематика романов Достоевского должна изучаться, "исходя из положений, которые (...) прочно закреплены исследованием Бахтина". Сам же Бахтин в это время уже "поселился на границе Сибири и Казахстана", как об этом деликатно сообщает биография ученого. Грубо говоря, был в ссылке. Но в тридцатом году железный занавес еще не опустился до конца, и есть сведения, что отзыв свободной русской печати до Бахтина дошел.

"Несмотря на все, русская литература продолжает быть единой", — писала редакция "С.З." в 1934 г. — (...) "Мы радуемся, когда, несмотря на замутняющее все источники творчества отсутствие свободы, мы встречаем выдающиеся произведения т а м. Но мы знаем, что для истинно высокого творчества необходима свобода, которую мы храним з д е с ь".

Эта свобода, принятая как долг перед русской культурой, позволила лучшему русскому журналу не только сохранять и оберегать преемственность, но и открывать для русской литературы новые пути. Набоков, когда его встречаешь между Буниным и Зайцевым, в замкнутом пространстве одного тома, как-то "торчит": необычная структура, новый гармонический строй. Цветаевская проза, сразу завоевавшая Москву в 60-е годы, выглядит в "С. З." трагически-сиротливо: так в то время никто еще не пишет. Это — новое. Да и теперь — новое, несмотря на великое множество эпигонов, которых они породили.

Но, конечно, главное — это связи. Связи с прошлым, которое, оказывается, не умерло и не оборвано, а продолжает жить в настоящем, по обе стороны географического рубежа. Связи с Западом и Востоком. Связи литератур и людей, судеб единичных и общих, их обнаружение, обнажение — для сохранения.

Мы — там — росли в эпоху, когда связи затушевывались официально и скрывались индивидуально. Потому что были опасны.

Все и всяческие связи были опасны — семейные ничуть не меньше, чем школьные, исторические ничуть не меньше, чем зарубежные. Отречение от родителей стало тогда такой привычной чертой быта, что отразилось даже в юмористической литературе (как фарс, а не как античная трагедия). Кто не отрекался — скрывал: отца-священника, деда-торговца, тетку за границей. Князь Васильчиков носил фамилию своей няни, князь Кугушев, когда выяснилось, что он князь, спасся, только доказав революционные заслуги своего, к счастью, своевременно умершего отца. Знакомства с вождями революции,

которыми только что гордились, превращались в связи с врагами народа, а это означало смерть или Колыму. Женщина восторженно рассказывала про свою мачеху, американскую журналистку из Джон-Ридовской когорты. Сегодня рассказывала, а завтра мы все прочли в газетах, что эта мачеха — "известная американская шпионка". Чуть ли не самого Сталина формулировка. Февраль сорок девятого года...

Человек, лишенный семейных, дружеских, исторических связей, — человек, сохранивший одно-единственное, не национальное, не религиозное, не семейно-клановое, а официальное, партийно-государственное "мы", нагой и мертвый человек, неминуемо должен был терять при этом и "я". Он варился в пролетарском котле, он строил всевозможные магнитки и писал статьи в газеты или стихи, и из всех нечеловеческих сил старался забыть как можно больше. У всех было, что вспомнить — у всех было, что забывать. В Европе шли поиски утраченного времени — здесь утраченное время трудолюбиво, ежедневно втоптывалось в землю. Всю зиму 35-36 года в моей родной Одессе взрывали собор, в котором были похоронены Воронцовы. Вокруг собора была соборная площадь (ныне площадь Советской армии). Влюбленные, которых злые родители старались разлучить, сравнивали с этим собором свою любовь: "взрывают — а все равно стоит". В конце концов к лету взорвали окончательно, сравнили с землей, втоптали. Теперь там клумба с цветочным лозунгом: "Слава КПСС".

Вытаптывали подряд. Потом вдруг (и вовсе не вдруг, но не об этом сейчас речь!) кидались спасать затоптанное. Киевскую Русь с богатырями, Петра, Суворова с Кутузовым, Дмитрия Донского

(но не Сергия Радонежского!), Минина и (нехотя) Пожарского. Позже всех, уже после смерти Сталина — Достоевского. Восстановленные, реабилитированные, эти гиганты взмывали над затоптанной равниной в гордом одиночестве, рождаясь словно ниоткуда, зато прогрессивно предчувствуя наши дни. А "наши дни" рождались прямо из Великого Октября, и между Шолоховым и Толстым, между Решетниковым и Богдановым-Бельским никого не было.

Все и каждый старались забыть о прошлом — все и каждый, раньше или позже, принимались искать утраченное время. Где-то оно от всех пряталось — в старых книгах, с ятями, например, которые в то время были сказочно дешевы, потому что их владельцев отправляли туда, куда книг с собой не возьмешь. На всякое "не приведи, Господь!" есть свое "слава тебе, Господи!" — задумчиво сказал один книжник другому. В шестидесятые годы уже открыто говорили друг другу, что "порвалась связь времен", что это непростительно, что наша задача теперь — связывать, связывать. В Россию стали, легально и нелегально, возвращаться — Бердяев и Шестов, Цветаева и Бунин, мирискусники и Шагал. Возвращались из-за рубежей и из запасников, по-прежнему поодиночке, кому как удастся. Словно Робинзоны, спасшиеся от кораблекрушения. Словно случайные куски папирусов, уцелевшие после пожара Александрийской библиотеки.

Но, оказывается, сохранилась Александрийская библиотека — наша и для нас. Семьдесят томов. На довольно плохой бумаге, с ятями и опечатками (их немного!), без иллюстраций (только изредка портреты, например, Бунина по случаю получения Нобелевской премии), с четырьмя именами (по алфавиту) на титульном листе, одними и теми же в течение

многих лет: Авксентьев, Бунаков, Вишняк, Руднев.

Для кого писались "Современные записки"? Конечно же, для современников. В них кипят тогдашние споры, делаются прогнозы, выводятся исторические заключения — в них полно "злобы дня".

Но чудо в том, что эта злоба дня не стареет: в "Современных записках" она сразу же переходила в другое качество и становилась историей. Живой историей, которая и есть связь времен, для одних желанная, для других опасная, но, значит, не прерывавшаяся никогда.

ВЫСТАВКА РОБЕРТА КАПА **Ретроспекция 1932 - 1954**

В Манхеттене, на углу 94 улицы и Пятой авеню, в помещении Международного фотографического Центра, открыта выставка двух фотографов — Анри Картье-Брессона и Роберта Капа. Картье-Брессон — на первом этаже; он представлен портретами. Целая галерея отлично снятых знаменитых людей — от Махатмы Ганди до Мэрилин Монро.

Несколько утомленная односторонним общением со знаменитостями, я поднялась на второй этаж, где выставлены работы Капа, исключительно по чувству долга. И пробыла там два часа, и через несколько дней пришла еще раз.

В чем же дело?

Дело в том, что, когда вы входите в разделенный перегородками зал, история буквально обступает вас со всех сторон. Не парадная, а подлинная история того двадцатилетия, которое так тесно связано с сегодняшним днем, что выглядит актуальнее, чем вчерашняя газета. Начиная с самой первой фотографии 1932 года: Троцкий читает лекцию студентам в Копенгагене. Пленка, по-видимому, пострадала от времени: фотография покрыта белесыми трещинами, как стена после землетрясения. Но центральная фигура хорошо видна: Троцкий — оратор. Правой рукой он схватился за голову. Вероятно, он просто сделал ораторский жест, поднял руки, убеждая, — но на фотографии рука и голова слились.

Вероятно, это случайность, но зритель видит в этом предсказание судьбы, предвидение того, что предстоит оратору в не столь уж отдаленном будущем, когда Рамон Меркадер рассечет эту голову своим ледорубом.

Отношение к истории сейчас сложилось какое-то подозрительное, особенно у западной молодежи. Очень образованная молоденькая француженка даже удивилась и пожала плечами: "История? Так ее ведь не существует!" Может быть, с этим убеждением легче, а может быть, облегченный нигилизм помогает справиться с казенным оптимизмом. Но люди, которые ходят по этой выставке и застывают перед фотографиями, — большей частью ровесники этого странного феномена — несуществующей истории, которую они прожили.

Франция. Предвоенная Франция эпохи больших надежд и победы Народного фронта. Кстати, не думайте, что Франция — это пейзажи, сельские или городские; у Капа Франция — это французы; его история — это история с человеческими лицами. Забастовки, мирные, сидячие — на заводе Рено, в универмаге "Галерея Лафайет" — три продавщицы, прелестные парижанки, одна заснула у другой на коленях, третья смотрит на них... Улица — молодая женщина подняла сжатый кулак — "Народный фронт" (раньше это называлось "рот фронт", по-немецки). Демонстрация. Над толпой (так и хочется сказать "плывут") портреты: Горький, Анри Барбюс, а вот и знаменитые морщинки в углу глаза и усы (портрет виден не полностью)... Кусок плаката: "...советик... обеспечат... мир во всем мире". Еще плакат: русский и французский рабочие крепкожимают друг другу руки: "Наша дружба спасет

мир". В глубине портрет Сталина, на этот раз он виден полностью.

Ветераны демонстрируют против войны: коляски, коляски — катят инвалиды Первой мировой; шагает хромым летчик в кожаном шлеме. Двадцатилетие Вердена: огромный развернутый флаг со свастикой — это немцы, участники сражения, прибыли продемонстрировать — не военную мощь, а скорбь и мирные намерения. На дворе июль 1937 года. Где они будут через двадцать пять месяцев, эти люди? Вот этот высокий блондин с таким достойным лицом?

И вот — Испания. Как говорит какой-то герой Хемингуэя: "Здесь я выпустил свою первую пулю по фашисту". Испания. Для кого-то политическая игра, для кого-то — полигон, для кого-то рыцарская возможность сразиться за свои убеждения; для испанцев — кровавая междоусобица, следы которой, как незажившие шрамы, видны и через десятилетия.

Поезд уходит на фронт, солдат целует девушку, в окне — ослепительная улыбка другого солдата... Это республиканцы, разумеется. Дом в Барселоне, с рухнувшей наружной стеной — помнится, там были голубенькие обои и кровать у стены — да, вот она, кровать...

Проводы интербригадцев — Республика сказала им спасибо и отпустила по домам в конце 1938 года. Огромная толпа, множество прекрасных лиц, слезы... Их еще позовут обратно через две недели — защищать Барселону, и кто-то из них погибнет, но они еще не знают, они прощаются, плачут и думают, что кровь и смерть позади. Шоссе, ослик тащит тачку со скарбом, двое подталкивают сзади — они уходят к северной границе, к Франции и думают: пустят ли французы? Слухи ходят: закрыли границу...

Сотни раз описанное отступление, я и сама его описывала. Но вот фотография: идет женщина в шубе и веревочных туфлях — альпартгатасах, в одной руке тяжелый чемодан, в другой — старенький битком набитый портфель... И вы видите себя, родных, друзей, судьбу. Может, это самая характерная фигура XX века — беженка, эмигрантка, "рефьюджи". Перемещающееся лицо.

Испания сменяется Китаем — там тоже воюют. Против Японии. Мексика, 40-й год. Фотография называется "Первая жертва выборов". Убитый на земле, он голосовал, по-видимому, не так, как кому-то хотелось. И другая фотография: похороны жертв выборов.

А вот и то, чего так страшились, так старались избежать — Вторая мировая война. Лондон 41-го года. И здесь — чуть-чуть впускается — не пейзаж, а приметы быта. Хозяйка на улице вытряхивает коврик. Чаепитие в бомбоубежище: на бочке расстелено чистое полотенце, молочник, чашки — традиции нельзя нарушать. Это англичане! У англичанки, которая, по-видимому, накрыла этот стол-бочку, на лице выражение самое обыкновенное. Развалины.

"Двадцать четвертую драму Шекспирову пишет время кровавой рукой", — писала Ахматова. А то ли еще будет... Но вот 43-й год: высадка союзников в Сицилии, в Тунисе, в Нормандии... Берег, у берега, еще в воде, солдат в каске, волна бьет ему в лицо, но сейчас он встанет и поставит сапог на этот берег... А вот и первые немецкие пленные: руки на голове, лицом к зрителю, каждое лицо — биография.

Начинается торжество победителей. Шартр. Молодую женщину приводят во двор префектуры: там ей сейчас обреют голову за то, что она жила с нем-

цем. Мы видим ее со спины: волосы до плеч, кудрявые или подвитые. Еще фотография: бритую женщину с ребенком на руках и ее бритую мать ведут по мостовой Шартра, а на тротуаре ликующая толпа: сегодня на их улице праздник. 26 августа 1944 года: радостный Париж, вчера его освободили союзники, мы видим огромную фигуру де Голля... Американец в Лейпциге хватает немецкого снайпера, который только что убил его товарища... Берлин... Сорок пятый год. Война окончена.

И — новая война: война Израиля за независимость. Однако военных фотографий на выставке нет, там есть фотографии более позднего времени.

И наконец — последняя, пятая война, на которой и погиб Роберт Капа: французский Индо-Китай. Кладбище. Плачет вьетнамка с заснувшим ребенком на руках... Никого вокруг — только могилы.

Вскоре после того, как был сделан этот снимок, Капа подорвался на вьетнамской мине. Ему было сорок лет.

Он родился в Будапеште, в 1913 году, за несколько месяцев до Первой мировой войны. Родители держали пошивочную мастерскую, "салон". Настоящее имя Капа — Эндре Фридман. С юности он мечтал стать журналистом. Примкнул к левому студенческому движению. Был за это, в возрасте 18 лет, выслан из Будапешта. Поступил в Берлинскую высшую школу "фюр политик", подрабатывал помощником лаборанта в агентстве, от которого и получил свое первое серьезное задание: сфотографировать Троцкого в Копенгагене. В 1933 году, когда к власти пришел Гитлер, после довольно долгих скитаний начинающий журналист поселяется в Париже. Здесь он принял псевдоним Роберт Капа и, так как никто не говорил по-венгерски, перешел на универсальный

язык фотографии. Правда, он до конца жизни, даже когда стал всемирно знаменитым, говорил о себе: я не фотограф, я журналист. За 22 года он создал фотолетопись своего времени.

Он как-то сказал одному фотографу: если у тебя фотография не получилась, значит ты стоял слишком далеко. Сам Капа не боялся подходить близко. Его камера не безлична, его летопись не объективна: в Испании он на стороне республиканцев, в Китае — на стороне китайцев, во Франции — на стороне Народного фронта, во время Второй мировой войны — на стороне союзников, разумеется. Но он не боится подходить близко, и потому его камера оказывается честной и смелой. Рядом с фотографией триумфа в освобожденном Париже — другая фотография, трагикомическая: те же парижане, ничком повалившиеся на тротуар. Оказывается, засевший на чердаке немец стал обстреливать толпу из окна. Война еще не кончена, регистрирует камера.

И другое свидетельство. Когда только что обриту женщину с младенцем на руках ведут по мостовой, а толпа на тротуаре улюлюкает и хохочет, что-то в вашей душе перемещается и возмущается, и сочувствие ваше — на стороне опозоренной и униженной. Камера не солгала, фотограф стоял близко — ближе к страданию, чем к злорадству.

Сознательно или бессознательно, но эта историческая ретроспекция как бы воссоздает историю человеческих заблуждений. И потому мне не хватало тут фотографий страны победившего социализма. А Капа побывал там вместе со Стейнбеком в 1947 году и, стало быть, фотографировал. Но на выставке этих фотографий нет.

Они сохранились в журналах того времени — "Иллюстрэйтед" и "Лэди'з хоум". Автор книги о

Роберте Капа Ричард Вилан пишет, что фотографии получились интересные. Еще бы! Капу вообще не хотели пускать в Советский Союз, — пустили лишь потому, что Стейнбек без него ехать отказался. Разумеется, его не допускали до людей, вообще программа поездки была твердо определена, пленки взяли в цензуру и вернули только в самолете...

И все-таки для этих фотографий следовало бы отвести место на выставке, потому что эту страницу летописи заклеивать и затушевывать нельзя. Капа увидел то, что, правда, трудно было скрыть: фанатичный культ усатого человека в маршальском мундире. Он снял колхозный рынок с портретом Сталина, показ моделей одежды (угрюмый президиум за столом, манекенщица спиной к зрителю и огромный портрет вождя на стене), и портрет в балетном училище, и на стадионе, и в школе, и дома, и в коммерческом магазине...

”Некоторые говорят, что самому Сталину это не нравится, — писал Стейнбек. — Но почему-то все другое, что не нравится Сталину, очень быстро убирают”.

Полагаю, что зрителю, попади эти фотографии на выставку, все стало бы ясно и без комментариев.

И еще одна фотография — сталинградская — прозвучала бы вполне неожиданно: портрет еврея в высокой шапке перед огромной книгой!

Еврейская тема появилась у интернационалиста Роберта Капа только в конце войны: первое празднование еврейского Нового года — Рош-Гашана — в Берлине (осень 1945). Развалины Варшавского гетто: пустырь на фоне костела. И — Израиль. Меа Шеарим — иерусалимский квартал, где живут религиозные евреи. Первый израильский президент Вейцман приехал голосовать. Три улыбающихся слепца

куда-то ведут друг друга (Хайфа, 1949). И опять лица, лица...

Роберта Капа называют величайшим фотографом. Рассказывают, что он не слишком педантично относился к работе в лаборатории, не очень хорошо владел вспышкой, что один его издатель даже поинтересовался, а не спрятал ли Капа в своей камере какой-нибудь инструментик, который специально царапает пленку. Пишут, что он был необычайно привлекательным человеком. Главное в его фотографиях — люди, и он сам говорил, что фотографу должны нравиться его персонажи и они должны об этом знать.

Но есть и еще одно качество у этой удивительной выставки: лирическая, почти музыкальная связь, которая возникает между художником и зрителем. Мы, люди старшего поколения, увидели тот собирательный портрет своего времени, наш общий портрет, где мы были и героями и жертвами, и обманутыми и обманщиками, и носителями зла и страдальцами.

Но, может быть, охват этой выставки шире? По крайней мере, молодые люди, которых спрашивали: "Что вам тут понравилось больше всего? — отвечали: "Все".

ПИСЬМО ИЗ ЛОНДОНА

В Лондоне идет фильм "Письмо Брежневу". В журнале "Тайм-аут" ему посвящена довольно большая статья. Она заканчивается заявлением сценариста, Фрэнка Кларка:

"...Это не про-русский и не про-американский фильм — это фильм о девушках из Киркби (предместье Ливерпуля), которые влюбляются. Это любовная история. Пусть в карманах пусто — но все-таки ты можешь влюбиться. А жизнь куда лучше, если в ней есть любовь."

Итак — любовная история. Еще одна "лав-стори", без миллионеров.

И мы пошли смотреть любовную историю, увенчанную фамилией Брежнева. И мы увидели картину, которую, конечно же, если ее подчистить переводом, можно немедленно везти в Москву и показывать в рабочих клубах.

Правда, представитель ТАСС, специально прибывший из Лондона, на просмотре в Киркби посоветовал, чтобы название фильма переменяли: пусть, дескать, фильм называется "Письмо в Москву". — Но, — объяснила ему вторая ведущая актриса, сестра сценариста, — фильм потому и называется "Письмо Брежневу", что Брежнев был очень хороший премьер. "Мы даже Горбачеву послали видео, и приглашение на сегодня — хоть мы и понимали, что он не сможет. Может, вы постараетесь, чтобы Москва и Киркби стали городами-побратимами? Или

хоть попытаетесь устроить, чтобы нашего "Брежа" показали в России."

"Я только репортер", — отвечает Тассовец. Но тут английский журналист дает понять, что его на мякине не проведешь. И пишет: "А уж это очевидное вранье, потому что он, уж конечно, один из новой волны кагебешников".

Но актриса не смущается: "Постарайтесь все же, ладно? Потому что фильм устанавливает прецедент для людей — чтобы не боялись друг друга. Ключевое слово сегодня — любовь".

Любовь, о которой тут идет речь, возникает между девушкой из Киркби (ее играет другая актриса, не та, что беседовала с Тассовцем) и русским матросом. Было дело: зашел в Киркби советский корабль, два матроса получили увольнение на берег; вдвоем они бродят по городу, заходят в бары, знакомятся с двумя девушками, проводят с ними ночь — да-да, советские моряки этак просто проводят ночь с англичанками, в каком-то, как в таких случаях пишут, подозрительном отеле и потом как ни в чем не бывало возвращаются на свое судно. Сценарист вырос в Киркби, он знает, что такое моряки вообще, и как они себя ведут на берегу, — а что, разве советские моряки не такие? И попробуйте убедить его, что и хотели бы быть такими, да не могут, что за такое грозит уже не "без берега", и даже не списание с корабля, а кое что похуже...

Ладно, пройдем мимо этой декоративной клюквы. Матросы — один грузин, по-видимому, другой русский — пережили эту встречу по-разному. Грузин, который по-английски не говорит, довольно быстро оказывается со своей девушкой в постели; русский же не только говорит по-английски, но даже понимает, что ему говорит его девушка, а это не лег-

ко — понять ливерпульцев без привычки по-моему невозможно. Они гуляют по улицам, и он говорит ей про Россию и даже читает ей по-английски Тютчева: "умом Россию не понять"... И когда они расстаются утром, он говорит ей, что ее любит, хочет на ней жениться, и что они непременно встретятся... Девушка начинает ждать встречи — она тоже полюбила, она романтичная, к тому же ей хочется вырваться из Киркби, где безработица, где грубые нравы, кокаин, воровство (ее подруга по танцам, которая, в отличие от нее, работает, вытаскивает из кармана у своего случайного партнера бумажник и это нашу героиню нимало не смущает), в общем, она хочет соединиться с любимым. И она пишет письмо Брежневу: "Я простая девушка из Киркби"... Письмо приходит в Москву — мы видим московский кабинет с коврами, и толстый референт, плененный, видимо, романтизмом, говорит секретарше: "Передайте письмо!" В результате Москва дает ей разрешение приехать.

Девушка становится знаменитостью — о ней пишут газеты, ее интервьюируют репортеры, и, наконец, ее вызывают к представителю министерства иностранных дел. Опять кабинет с коврами — только английский. И представитель объясняет ей, что она потеряет свободу, если уедет в Советский Союз.

— А зачем мне свобода? — удивляется героиня.

И тогда представитель министерства показывает ей фотографию — ее возлюбленный с какой-то женщиной. "Мы узнали — он женат!", говорит ей представитель министерства.

Но этот номер "у них не проходит". Подруга — та самая, что похитила бумажник, а потом развлекалась с грузином — говорит героине: "Что-что, а я сразу понимаю, женат мужик или нет. Твой — не

женат”. И героине этого достаточно: она складывает чемодан, и ее родители, которые сначала тоже были против, усаживают ее в такси... Хороший конец, она вырвалась, она уезжает, ее не удалось обмануть. Победила любовь, ура!

”Тэтчер взбесилась бы, если бы увидела этот фильм”, — говорит Фрэнк Кларк корреспонденту. — ”Потому что она бы хотела, чтобы мы тут, в Киркби, подняли бы свои задницы и работали за гроши — такой у тори принцип. А из фильма ясно, что мы сами — творцы, и этого она бы никак не одобрила. Наш фильм несет идею мира.”

Какие знакомые слова.

Фильм хвалят за две вещи: во-первых он обошелся дешево — всего 400.000 фунтов; во-вторых — за чисто-ливерпульскую энергию рассказа: ”словно слушаешь опытного рассказчика в кабачке”.

Странные вещи сообщает этот опытный кабацкий рассказчик, перескакивая через узлы сюжета и торопясь к самой сути.

В чем же тут суть? Мне не поверилось, что этот фильм — просто пальмовая ветвь мира, как уверяет его создатель. Идея тут не в том, что молодые люди полюбили друг друга — во всяком случае не любовь снимал оператор и, вероятно, не о любви думал режиссер. Молодые люди произносят совершенно чужие слова и ведут себя как деревянные куклы даже когда обнимаются. И причина не только в том, что героиню играет очень средняя и мало привлекательная актриса. Они доводят до нас совсем другую идею: политическую. У героини один враг — тот же, что у сценариста: ”эта Тэтчер”. Это она виновата, что созданный в 50-е годы на северной окраине Ливерпуля новый город Киркби не

стал жемчужиной на Мерси; она виновата, что его экономика строится на преступлениях; она виновата, что жители бедны: "они были бы так счастливы, если бы она им прибавила пару шиллингов". Она — и ее правительство, конечно. И вывод: из такого Киркби, из такой Англии бедному человеку (бедной девушке) остается одно: бежать. Пусть в Советский Союз — какая разница? "К чему мне свобода"?

Бедность, которую мы видим на экране — с цветным телевизором, с гостиной, отдельной комнатой для дочери, коврами и ковриками, кружевными колготками и возможностью каждый вечер ходить развлекаться как-то не удручает, не рвет сердце. Захочет ли героиня, когда приедет, скажем, в Ленинград, работать, скажем, на "Красном треугольнике" за восемьдесят рублей в месяц? Но, разумеется, не хлебом единым жив человек. Любовь тоже — не один голод — движет миром. И с тем, что за колготками придется стоять в очереди, можно примириться. И с коммунальной квартирой тоже. А вот как быть со свободой? Авторская мысль — а , всюду одно и то же, чиновники здесь, чиновники в Советском Союзе — какая разница? Можно ли поверить, что он не знает, какая разница? Нам с вами объяснять не нужно — а ему? Нужно ли? Стоит ли? В пылу политической борьбы "с этой Тэтчер" он глохнет и слепнет, и протягивает свою ветку мира прямо в Москву. Может, там ее и примут, но сначала как следует подстригут. По форме.

ЛЕГКАЯ ДУША

Почему-то мы, видевшие все пьесы Шварца на Ленинградской сцене, так и не увидели "Дракона". Мы, конечно, его читали (он ходил в списках), о нем говорили, ждали, когда же, наконец, его поставят, и слухи ходили — что вот-вот разрешат, уже разрешили, и мы спрашивали художественного руководителя театра Комедии, Николая Павловича Акимова, перед войной поставившего "Тень", — когда же?... Акимов сердился и не отвечал.

Увидели мы "Дракона" только по-итальянски, летом 1979 года, во Флоренции, во дворике монастыря "Санта Мария дель Кармине". По всему периметру дворика были воздвигнуты деревянные, не очень широкие мостки, и по ним носились актеры, а на траве дворика пытались сидеть зрители; это им не удавалось, потому что действие все время перемещалось с одних мостков на другие, и зрители кидались толпой то назад, то вперед, то вбок. И хохотали — именно там, где нужно, где хохотали и мы. Они разбирались в подтексте, по-видимому, и узнавали что-то исконно свое, флорентийское именно там, где мы узнавали свое, исконно советское. Для них шварцевские аллюзии открывались в их собственный быт и нравы. О чем бы это ни свидетельствовало, Шварц, думаю, был бы счастлив.

Вероятно, то же происходило в 1957 году в Берлине, где Густав Грюндгенс поставил "Тень". И во французских театрах, и в английских. И дело, ду-

мается, не в том, что европейскому зрителю знакомы шварцевские сюжеты.

Для нас, на чьих глазах Ленинградский театр Комедии превращался из театра Лабиша в Шварцевский театр, почти все тексты Шварца озвучены голосами Акимовских актеров. Даже знаменитый "Голый король", которого возвратил Ленинграду только что родившийся московский "Современник", тут ничего не изменил. Только "Золушка", тридцать шесть лет не сходящая с экрана, составляет исключение — но то ведь кино! Разве можно забыть голос Гошевой — Аннунциаты, голос Суханова, которым говорили — говорят шварцевские короли? Они говорили слова Шварца — но своими голосами.

Авторский Шварцевский голос мы услышали впервые в начале шестидесятых: в самиздате пошла его проза. Началось с "Белого волка", потом "Пятая зона", потом — "Превратности характера". Кто-то неторопливо выпускал их на волю, как Василиса Премудрая голубей. Из рукавов или из ящиков письменного стола.

Теперь издательство "La Presse Libre" собрало эти и некоторые другие тексты Шварца (подготовка текста, предисловие и примечания Льва Лосева), снабдило ее хорошими фотографиями, и мы получили очень интересную и, как говорили в старину, изящно изданную книгу под названием "Мемуары". "Ме", как стыдливо называл сам Шварц то, над чем работал с 1949 года. Год, заметим, не самый безопасный для такого предприятия. Так или иначе, это — первый опыт издания однотомника шварцевской прозы. В Москве, в Центральном архиве лежит тридцать семь grossбухов — сообщает составитель, — и тридцать лет работники архива "готовят их к печати". То, что лежит теперь перед нами, — только

малая часть. Кое-что тут самим Шварцем осторожно подготовлено к печати. Основной корпус книги — это законченные, тщательно отделанные четыре рассказа, которые влетели в самиздат в полном литературном оперении: "Белый волк", "Печатный двор", "Превратности характера", "Пятая зона — Ленинград". Да и "Детство", обрывающееся, как "Тристрам Шенди", "на самом интересном месте", — вполне отделанная вещь. И нет сомнения — это художественная проза, несмотря на то, что речь идет о реальных событиях и реальных людях. У каждого рассказа — сюжет. И — освещение. Театральное, Шварцевское освещение.

Лев Лосев, автор умной и тонкой вступительной статьи, характеризует "МЕ" "как мемуары эпические, т.е., по его классификации, "составляющие портрет эпохи".

Возможно. Но вот в чем своеобразие этого "портрета эпохи": он похож на старинную географическую карту — с огромными белыми пятнами. По историческим тогдашним условиям туда не ступала нога пишущего человека. И границы белых пятен очерчены зыбко, а дальше — заколдованные места, где грозит смельчаку и его сюжету всяческая гибель, но камень, лежащий на распутии, не имеет остерегающей надписи.

Рассказ "Превратности характера" — вовсе дьяволиада. Действуют в ней не только демонические гении, но и прямо — черти и ведьмы, и вообще это, по определению Шварца, "демоническая черт знает что за история"; притом, вернее будет сказать, что тут не одна, а целый узел таких историй. Лев Лосев, отбиваясь от этого фантазмагорического наваждения, старается свести его к "арифметической задаче", как выражался демонический гений — Ни-

колай Олейников. "Если перевести эту поэтическую метафизику в реальный план", — пишет Лев Лосев, — "то речь идет о конфликте между эпохой (в ее политической ипостаси) и человеком...". Конечно, описываемая эпоха в рассказе присутствует, но скорее как "веселый воздух двадцатых годов" (выражение Шварца): ни тридцать пятого года (памятного ленинградцам массовой высылкой "бывших" людей), ни тридцать седьмого вы не обнаружите не только в тексте, но и в подтексте. Даже там, где происходит самое характерное для эпохи — вызов к следователю — она, эпоха, еще не когти показывает, а разве что бархатную лапку: следователь прокуратуры "пребывал в своем абстрактном осуждающем юридическом мире", политических обвинений не предъявлял — всего-навсего расследовал донос жены (у Шварца говорится "заявление"), что муж, писатель Борис Житков, "ее, здоровую женщину, пытался заточить в сумасшедший дом". Да и дело в конце концов было прекращено.

В каком году это происходило? Неясно. И где был в то время друг Житкова, гениальный Олейников, с которым мы расстались на той же странице, где началось "дело"? И где была та редакция, где ломались жизни и копья во славу великой детской литературы, и что случилось с "маршакидами", как все тогда называли учениц Маршака — Габбе, Задунайскую, Любарскую, Лидию Чуковскую? Что случилось с Груней Левитиной, которую Олейников воспевал и стихотворно ревновал к Шварцу? Вообще, почему мир вокруг Маршака оказался таким единообразно мужским?

И тогда посмотрим на начало рассказа — и увидим, что он писался в 1952 году. У этих воспоминаний — две эпохи: та, которая вспоминается, и та,

когда вспоминается. И неизвестно, которая страшнее. И автор стиснут этими белыми медвежьими лапами. И все-таки называет запретное имя Олейникова, и рассказывает о нем, называя его гениальным человеком. И произносит очень странное для тех лет словосочетание — Дух Божий, Божественная сила, и противопоставляет ее чертям и демонам, которые тут так и вьются. Потому что без них эпоху никак не объяснить — и сказочник Шварц это знает.

Шварц родился сказочником — это бывает не так уж редко, и даже с самыми разными людьми: прославленный политик как-то обмолвился, что в детстве сочинял сказки для младшей сестры. Но Шварц оставался сказочником до самого конца, и относился к этому серьезно. Чему-чему, а серьезному отношению к своему делу, особенно, если это дело литература, Маршак научить мог. Может быть, это было то единственное, чему Шварц в его школе и научился. Может быть, из постоянных упоминаний Шекспира и Библии рождалась истинная мера вещей — а также идея обработки известных сюжетов. Тем более, что сказочных сюжетов в мире не так уж и много. Важно было то, что можно было сказать сквозь сказочный сюжет. Шварц произнес во всеуслышанье забытые, поразительные слова. Он сказал (в "Драконе"): "жалейте друг друга!" А через десять лет, в другой пьесе — "любите друг друга". Он проповедовал, и улыбался, и шутил, и стремился если не исцелить, то хоть утешить искорверканные временем полумертвые души... Потому что мера вещей у него была одна — этическая.

С этой мерой вещей он ушел из школы Маршака. Как колобок, он ушел и от ЛЕФа, и от "Серапионов", и от ложной многозначительности послебелов-

ского ритма — и ему удалось стать и остаться самим собой: Сказочником, который умеет распознать, где добро и где зло, где ложь и где правда, где красота и где безобразия — и этим утешить.

Этическая мера, противопоставляемая антиэтической жизни, осталась у Шварца навсегда. У него был пробный камень для персонажей своей прозы: во что верует? Кто верует в успех, кто в творение рук человеческих — вещь, кто в эпоху, в то, что "время всегда право". А время то ломало людей, ломало и то, во что они веровали, ломало отношения и души — бесовское кружение не прекращалось, великие силы не находили равного себе выражения и потому превращались в недобрые.

Друзья, пишет Лев Лосев, поддерживали писателя "советами, интересом и восхищением" в писании "главной прозы". Друзья знали его и не ждали от его воспоминаний ни шумных разоблачений, ни сладострастных саморазоблачений. Знали — он даст свое освещение той действительности, в которой всем им пришлось жить и умереть.

И освещение получилось — сказочное. И огромный белый волк, который воспринят был первыми самиздатовскими читателями то ли как памфлет, то ли как разоблачение Корнея Ивановича Чуковского — в конце концов тоже могучий сказочный зверь, и его создатель непрестанно им любит. Даже несмотря на то, что нет в нем веры — а в те поры, вероятно, и не было. И все равно он — "мученик неведомого бога", отмеченный проклятием труда. Мучительный этот труд пугал молодого и еще как бы ленивого Шварца — и приводил в восторг. Пушкин когда-то писал Вяземскому, что чернь упивается, читая исповеди великих: он мал, как мы, он мерзок, как мы. "Врете, подлецы; он и мал, и мер-

зок — не так, как вы — иначе”. И вот это иначе всегда соблюдено.

Сам Шварц писал о себе: ”У меня был талант — верить”. Но верить — одно, веровать — другое. Пожалуй, Шварц веровал в Дух Божий — и не только в форме творческого вдохновения.

В этом стилистическое единство Шварца-драматурга и Шварца-прозаика, и это определило благородство его стиля.

Сказочник в ”Снежной королеве” — студент. Сказочник Шварц так и остался студентом, навечно. ”Со взрослыми мне не по пути”, — писал он в рассказе ”Печатный двор”. Несколько поколений знает и любит его с детства. В семьях, где были дети, жили цитаты из Шварца — в каждой семье свои. В обиход современного языка он вошел накрепко... Ему же казалось, что он знает себе цену и он судил себя строго. Есть его стихи 47-го года, до сих пор, кажется, не опубликованные:

Я прожил жизнь свою неправо,
Уклончиво, едва дыша,
И вот — позорно моложава
Моя лукавая душа...

...Но все же... Все так — кончается стихотворение —

...Все так. Но верю, верю я:
Недаром послана на землю
Ты, легкая душа моя.

Легкая душа. ”Легкий человек” — назвал его Каверин. ”Сговорчивый, легкий, веселый”, — говорил о нем Маршак. ”Я и в самом деле был слишком

для него легок и беспечен”, — признавался он себе. Легкость истинная — но и мнимая, потому что, как о том свидетельствуют Мемуары, вся жизнь Шварца была преодолением тяжести писательского труда в русском понимании этой задачи.

Он говорил Ольге Форш, что хочет поднять на художественную высоту культуру шутки. А когда он умер, когда вышел первый его однотомник, люди увидели, что он был великий писатель.

Очень нужна была бы теперь, после Мемуаров, книга о Евгении Шварце. И хорошо было бы, если бы Лев Лосев ее написал.

ГАЛИЧ ПО-АНГЛИЙСКИ

Когда-то Скриб — тот самый Скриб, который вечно идет на советской сцене, спасая провинциальные театры от полного прогара, — так вот, Скриб, когда его принимали во Французскую академию, сказал: "Может быть, желая изобразить историю песни, я бы неожиданно рассказал вам всю историю Франции". "С помощью этого веселого архива, этих поющих летописей... нельзя ли будет восстановить главнейшие факты нашей истории?" Цитирую по пушкинскому "Современнику", 1836 г. "Остроумный оратор представляет песню во всегдашнем борении с господствующей силою", — пишет Пушкин, пересказывая конец его речи.

Серьезный славист, автор более ста рецензий и статей по русской литературе, печатавшихся в солидных и специальных журналах, преподававший русскую литературу в университетах Англии, Джералд Стэнтон Смит осуществил первое научное издание песен Галича на английском языке. Со вступительной статьей и примечаниями.

Дж. Смит посвятил этой работе ни много ни мало двадцать лет. В данном случае научные интересы выросли из совсем других. Дж. Смит не только славист, но и джазист, композитор, дирижер и исполнитель. Как мы знаем из литературы XIX века, англичане — оригиналы. Для этого англичанина в шестидесятых годах русская литература и музыка пересеклись — ему открылся Галич. Он начал его

переводить, разгадывать, изучать — словом, попал под его обаяние, влюбился. И вот в издательстве "Ардис" в конце 1983 года вышел толстый том: шестьдесят песен и стихотворений в его переводе с нотами двух песен (и английским текстом). На прекрасной бумаге, прекрасным шрифтом, каждое стихотворение отдельно, не в подбор, с портретом Галича на синей суперобложке.

"Переложенные на бумагу, отделенные от голоса и гитары Галича, песни его многое теряют даже на родном русском языке", — пишет Джералд Смит. Справедливо. Все пели песни Галича — но никто их не пел так, как сам Галич. Но скажем сразу: переводы сделаны так хорошо, что песни остались песнями и по-английски. Их можно петь.

Поговорим о вступительной статье. Нелегко английскому ученому узнать песенную атмосферу второй половины 50-х годов, когда на каждом интеллигентном застолье — тогдашний вариант общественной жизни! — непременно пели лагерные песни. Лагерные песни — это не обязательно блатные песни, среди них и знаменитый "Магадан", автор которого так и остался неизвестен. В них был необычный быт и необычная подлинность.

Кстати, ранняя песня Галича "Парень в кепке и зуб золотой" пелась в лагерях задолго до смерти Сталина, до "оттепели". Сообщаю для будущего исследователя. Ее признали своей и пели чувствительно. В московских, переплетенных в ситец альбомах — так брал свое незабвенный девятнадцатый век — она сохранилась с фамилией автора.

Но все это опять-таки быт. Ученый другой страны может судить по литературе предмета и по сохранившимся материалам. А о Галиче написано сравнительно немного: несколько мемуарных вещей,

несколько критических статей — и все. Воспоминания самого Галича ("Генеральная репетиция") и несколько интервью интересны, дают факты, но, как всякие высказывания человека о себе, не слишком помогают пониманию. Особенно, если этот человек — поэт.

Джералд Смит составил мозаичный портрет Галича из его мемуарных отражений: "лорд Фаунтлерой", московский дэнди, Саша Гинзбург, Саша Галич, наконец — Галич! Он все прочел, пропел, перевел и изобрел собственный ключ. Вероятно, для того чтобы изобрести такой ключ, надо быть иностранцем и удивляться таким вещам, которым мы никогда не удивлялись; надо иметь другую классификацию, другое градуирование, другую шкалу. Эта шкала не лучше и не хуже — она другая.

"Неправильно будет думать, что "перерождение" Галича — результат внезапного решения, — пишет он. — В середине шестидесятых годов он вел двойную жизнь: писал диссидентские песни и зарабатывал большие деньги по сценариям и другим договорам".

К вопросу об этой "двойной жизни" Дж. Смит снова и снова возвращается: "Существовало нарастающее противоречие между направлением его песен и тем, как он сам жил, и он это чувствовал"... Он цитирует Даниэльсона, который "отпускает грехи" Галичу за то, что он актер и не только играет, но и живет по системе Станиславского, сливаясь с ролью. И в заключение приходит к выводу:

"Сила галичевских песен шестидесятых годов в том, что они отразили душу автора и прежде всего — его совесть. Это была больная совесть человека, осознавшего свою вину, презирающего себя за

то, что столько лет служил системе как советский писатель. Песни были искуплением вины. Галич пел о пострадавших с моральной позиции того, кто не страдал. Несмотря на то, что он был убежден: виновны все! — моральная позиция "не пострадавшего" была для него по-настоящему мучительна".

После 1971 года двойная жизнь Галича кончилась и он оказался в стане тех, кто пострадал. Но "...по-видимому, это дорого обошлось творческому таланту Галича. Ибо, когда он отказался от сатиры (...), перешел от драматической конфронтации к исповеди и попытался обратить сатиру не туда, куда она была обращена прежде — т. е. не на систему, в которой он вырос (см., например, "Дикий Запад"), жизнь из его творений ушла. Песни шестидесятых стоят особняком, они конкретны, полны обобщающих, концентрированных образов, воссоздающих целое общество; не-сатирические вещи вялы, смутны, даже сентиментальны".

Статья заканчивается так:

"Главное из того, что он сделал, было достоянием прошлого; и когда он покинул Россию и стал писателем, чье положение изгоя соответствовало его позиции диссидента, наступивший душевный мир с самим собой и чистая совесть оказали, по-видимому, губительное действие на самую плодотворную сторону его творческой личности. Наиболее долговечные вещи он создал, лицемеря внутри системы. Борьба с совестью принесла творческие плоды; когда совесть обрела покой, плодоносность иссохла". Словом, "из ссоры с другими мы творим риторику, из ссоры с самим с собой — поэзию". Так сказал замечательный поэт Йетс.

Читать это горько — и полезно. Потому что дает всем нам возможность — через Галича — уви-

деть себя со стороны, в неожиданном отражении, узнать, как нас слышат, как читают иностранцы.

И мы понимаем, что с исповедальным жанром произошла за последнее десятилетие некая инфляция: он представлен богато, но не слишком разнообразно. Галич стоит у его истоков, но переводчик перечитывает его сегодня. Что же касается сентиментальности...

При том, что Дж. Смит превыше всего ценит Галича-сатирика, создателя "человеческой комедии", он представил в своем сборнике — и широко — чистую лирику. И, переведя, показал, что и по-английски Галич — всегда Галич. Со слезой или без.

Потому что Галич для нас — всегда со слезой. Даже когда он от души смеется, даже в "Прибавочной стоимости". Такое это было дарование — а может, такая эпоха. В пятидесятые годы на ленинградских застольях распевали "Историю СССР в песнях" (не ведая о Скрибе). И хоть то были большей частью официозные песни, история все равно получилась благодаря ассоциациям, которые они поднимали; они не сознавали себя историей, но история в них себя узнавала. Для собственных песен пропуск был один — юмор. Песни должны были быть смешные.

Галич, как и Окуджава, — это оттепель, надежды, приоткрытые форточки... Галич этого времени был весел — он сам считает, что "вначале" была "Леночка". Да и Окуджава вначале был автором "Вани Морозова". Но для обоих эти "смешные" песни открыли дверь лирике. "Облака, — чистая лирика на новом городском языке, в котором, как тмин в хлебе, засели лагерные слова. "Облака" — ключ, пропуск Галича к заветной, запретной теме. Никого из первых слушателей, среди которых были

недавние лагерники, не удивило, что он, не-лагерник, о них от их имени поет. И все глотали слезы, извините за сентиментальность.

В России сатирики часто начинали как юмористы, как утешители. Стараясь, чтобы миру были не видны слезы — только смех. Когда-то юмор сравнивали, с легкой руки Ильфа, с радиом — такой же редкий, такой же бесценный. Вероятно — такой же опасный. Носитель юмора облучен. Обречен. Вот этим самым запасом не разразившихся слез.

Мы без этой Галичевой чувствительности не можем — и он не мог: без нее не было бы никакого Галича.

Разумеется, смешное долговечнее, и тут Джералд Смит прав. Оно дольше понятно. Мольер даже во Франции ставится чаще Корнеля, "Недоросль" живет трагедий Сумарокова; вероятно, одна из причин в том, что запасы веселья истощимы, а то, что высмеивается, долговечно. Но если в смешном нет "чувствительности", то нет и глубины. Мы любим теперь рассуждать о бесшабашной мениппее и чего только по моде к ней не подверстываем. А мениппея — это заговор от страха, и на дне ее, в глубине ее все те же незримые слезы.

В переводах Смита — будь то бытовые или сатирические песни, будь то чистая лирика — слышится и этот подтекст.

Самое трудное — объяснить, до чего же хороши переводы. Обычно в доказательство приводят цитаты — но тут этим не воспользуешься: язык чужой.

Но вот, например, стихотворение "Ворон". Те же восемь строк, две строфы, соблюден ритм. Вместо четкой русской рифмы ассонанс, или повтор (какой подарок для хорошего переводчика эти галичевские повторы!). И странно, соблюдена эмоциональная

звукопись: все слова и по-английски звучат по-ночному, сообщая даже скептическим англичанам некое чувство страха. Сообщают чувство — вот в чем message, сигнал, сообщение Галича. Именно к чувствам, которые теперь зовутся эмоциями, обращается Галич как сатирик, как поэт, как прозаик. И переводчик, вольно или невольно, это сохранил, повинувшись безошибочному поэтическому... чувству? Чутью?

И наши старинные знакомцы — Клим Петрович Коломийцев, Егор Петрович Мальцев, племянник тети Калерии, — все как живые, хватило и словесных эквивалентов и поэтического простодушия. И петь можно сразу — мы ведь всегда, даже когда читаем Галича глазами, поем в уме.

Это была главная задача, которую себе поставил переводчик.

Он сознавал, принимаясь за переводы Галича, что трудности, его ожидающие, не все могут быть преодолены. Он объяснил своему читателю "печальную необходимость" сносок и примечаний, ибо реалии бывают так же непереводимы, как атмосфера, в которой родились и исполнялись эти песни. "Метрическая организация стиха Галича, — пишет он, — вещь редкая не только для современной английской, но даже для русской поэзии". Но и с этим он справился, привлекая даже рифму, которая на Западе стала "табу"

Но реалии? Обычная задача: чтобы по-английски звучало так, словно это по-английски написано, — здесь даже не ставилась. Кстати, вот шварцевский "Дракон", например, не только звучит по-итальянски естественно, но даже возбуждает в публике те же ассоциации. Конечно, тут реалии знакомые, ска-

зочные — но итальянская публика смеется подтексту, слышит те же намеки, что и русская. Неужели потому, что у них был Муссолини? Задача для историков и социологов. У англичан, у американцев таких ассоциаций нет — и слава Богу. Мы рады за них. Пусть смеются тому, что и так понятно, а если что осталось непонятным — пусть читают примечания: "Мы потом, что непонятно, объясним".

Потому что реалии реалиями, а сохранить смех переводчику удалось. Это была не менее важная — и еще более трудная — задача, с которой переводчик справился, когда осознал или почувствовал, что юмор Галича всеми корнями в лиризме и вырастает из него. Тут переводчик и исследователь неожиданно разошлись, потому что исследователь исследует на уровне сегодняшнего дня, а переводчик, поэт, музыкант работает на других уровнях. И, вероятно, потому, что так влажно звучали на его языке "Облака" и "Гусарская песня", "Опыт ностальгии" и "Когда я вернусь" — смех в балладах и веселый, и невеселый. Потому что русский смех растет из лиризма, из чувств, из слез. Из sentimentalного лиризма, который, оказалось, плодородная, живая почва.

То, в чем переводчик упрекает — или обвиняет Галича, относится не к его послеэмиграционным стихам, которых очень немного было написано на Западе, и, скорее всего, не потому, что Галич нашел мир душевный и совесть его успокоилась. Какой уж тут мир душевный? Может быть, отрыв от корней для человека не смертелен, как для дерева; может быть даже, он излечим с течением времени — не знаю. Но много ли времени Галич на Западе пробыл?

Упреки в "вялости, смутности, сентиментальнос-

ти” относятся к исповедальным вещам семидесятих годов, к тем, где первое лицо слилось с авторским “я”. Об усталости читателя от исповедального жанра мы уже говорили. Но переводчик относит “Дикий Запад” к числу неудач Галича, переводчик даже не внес “Песенку о Диком Западе” в основной корпус — он дал в “Предисловии” лишь частичный перевод — как иллюстрацию жесткого разочарования, постигшего третью русскую эмиграцию, столкнувшуюся с западным либерализмом и его терпимостью “к восточноевропейским идеологиям” (откуда тут однако множественное число?).

Болезни демократии тоже не вчера родились, и тем, кто живет “внутри”, они бывают смешны, иные даже очень смешно о них пишут, кто добродушно, а кто и сатирически. Но для людей извне — а мы все пришли извне — шок был довольно болезненный. И о нем-то Галич в первую очередь, с первым изумлением и сказал.

Но что же все-таки имел в виду Джералд Смит, говоря о “лицемерии”?

Галич родился после революции, рос в Москве, мечтал стать русским писателем. Он был разнообразно талантлив, но начал как поэт и как поэт закончил свой жизненный путь. Он был удачлив: уже то, что он вырос в Москве, для его поколения — в центре вселенной, было величайшей удачей. Лицемерил ли он, когда писал “Вас вызывает Таймыр”, водевиль, который веселил и утешал миллионы зрителей в довольно-таки страшные пятидесятые годы? Даже в лагерях заключенные ставили “Таймыр” — не освобожденная какая-нибудь агитбригада, а работники, не для начальства — для себя. И смеялись, и радовались, и добрые чувства эта сказка пробуждала тоже. И, кстати, далеко не сразу в Совет-

ском Союзе были разрешены эти "добрые чувства" — это уже потом, потом начальство научилось пользоваться ими в собственных интересах. Лицемерил ли Галич, когда писал сказку про "Леночку"? Или когда пел ее милиционерам — потому что и такое было. Или когда экранизировал "Бегущую по волнам"? Галич тоже был сказочником, хотя у него действуют не принцы и волшебники, а советские служащие и командировочные, агенты по снабжению и постовые милиционеры. Сказки-романы и детективы, в которых добро и правда торжествуют, тоже не слишком точно отражают реальную жизнь, но расходятся на Западе огромными тиражами. Потому что и здесь, и поныне человек нуждается в утешении, в сказках о Золушках обоого пола, и ленинская теория отражения тут ни при чем.

Галич был удачлив: он вступил в литературу тогда, когда такие сказки уже с некоторым скрипом проходили. И началась жизнь литератора — советского литератора, который печатается, — с компромиссами и уступками; иногда он выигрывал, иногда терпел поражения, как с "Матросской тишиной". Писатель без читателя — писатель только наполовину, драматург без зрителя не существует вовсе — а утешительная литература существует столько же, сколько литература. О пострадавших Галич тоже писал, утешая. В конце концов, лирический герой "Облаков" тоже не на Колыме, а в Москве, вернувшись, поет свою песню.

Пострадавшие в песнях Галича вовсе не обязательно лагерники — их гораздо больше. Галич страдает со всеми — и, может быть, в первую очередь с теми, кто не понимает, что они не герои, а жертвы. И Егор Петрович Мальцев, и Коломийцев, и муж Парамоновой — все они, по Галичу,

жертвы, все отравлены, искалечены системой, и об этом рассказывает Галич сначала весело, потом все грустней и грустней. "Хуже всего не то, что известное количество людей терпеливо страдает, а то, что огромное количество страдает, не сознавая этого". Это давно сказано, еще Лермонтовым. Галич пел об этих, не понимающих, но он пел не только о них, он пел *для* них. И постепенно он сам, от песни к песне, становился все более зрячим, и в песнях пошла не человеческая комедия, а трагедия. Тогда появился и "Кадиш", и "Аве Мария"... Можно ли, справедливо ли говорить о лицемерии, о притворстве? О раздвоении и трагедии раскаяния? Тут, мне кажется, восторжествовал миф, традиционное представление: русская душа, русский кающийся писатель. Представление, которое нет-нет да и даст себя знать даже у самых образованных и тонких славистов.

Но не забудем, что выход книги — праздник. Впервые, Галич зазвучал по-английски — и зазвучал хорошо. Да и мы узнали, как прочитывают, как слышат, как объясняют Галича, который был нашим голосом.

ТРОЙНОЕ ЗЕРКАЛО

Известно, что на портретах — живописных ли, словесных — изображаемый чем-то похож на изображателя. Что, совершенно невольно, вовсе не желая изображать себя "как Байрон — гордости поэт", и художник, и мемуарист, переводя чужие черты и речи на собственный язык, начинает в них отражаться больше, чем сам бы хотел, иногда в ущерб своему предмету.

Но бывает и так, что объект изображения перерастает все: и полусознательное желание себя увековечить, и тщеславное стремление показать своеобразие собственного видения, и разные другие сутные и вполне сознательные малопочтенные соображения, которые всем нам не чужды.

Так случилось, что почти одновременно мне пришлось-довелось-удалось! — прочесть три воспоминания трех женщин об одной, трех писательниц о поэтессе; это — "Записки об Анне Ахматовой" Лидии Чуковской (только два тома, к сожалению, потому что третий еще не вышел), глава первая из "Четырех глав" Наталии Роскиной и "Анна Ахматова в последние годы ее жизни" из книги "Судьбы" Наталии Ильиной.

Книги Лидии Чуковской и Наталии Роскиной вышли в "Имка-Пресс", за что Имке и спасибо. Книга Наталии Ильиной — в Москве, в издательстве "Советский писатель". И все — в 80 году. Одновременно вышли в свет, некоторым образом — ро-

весницы. Все три автора живут в Москве, все три встречались с Ахматовой и друг с другом в пятидесятые-шестидесятые годы — именно к этому времени мы и можем отнести ее тройное отражение.

Воспоминания, конечно же, дополняют друг друга: например, у Ильиной рассказано, как вернулись к Анне Ахматовой ее стихи из сожженной тетради "Ржавеет золото и истлевает сталь" — через Реформатского и Виноградова; у Лидии Чуковской только сказано: "Важное — она прочитала мне свои стихи, не то 45, не то 46 года, которые, она говорит, были забыты ею, недавно к ней вернулись и записаны с чужих слов" (т. 2, 131). Бывает, и Чуковская дополнит Ильину: например, Ильина пишет про позднюю осень 1955 года: "...и Анне Андреевне негде было жить. Уехать к себе в Ленинград она не могла — держали в Москве дела". У Чуковской, под датой "1 ноября 55":

"...Она ведет кочевой образ жизни: к Ардовым кто-то приехал. У нее роковые дни. Решается Левино дело."

Вот, значит, какие "дела".

Или:

"Это был счастливый приезд: после долгой разлуки Ахматова свиделась со своим единственным сыном — Львом Николаевичем Гумилевым." (Ильина, стр. 210).

„Анна Андреевна приехала 14-го. А 15-го, ничего не зная о ней, зашел к Ардовым, по дороге в Ленинград, освобожденный Лева." (Чуковская, т.2, стр.151).

Ну, и многое еще такое, что может быть при желании объяснено разницей жанров — дневник и портрет-воспоминание, а точнее — разницей между... ну, скажем, издательствами. Мучения, тревоги, уни-

жения, связанные с появлением в печати каждой книги Ахматовой после знаменитого, так и не отмененного "Постановления" 1946 г. у Чуковской не описаны — со-пережиты. Когда воспоминания Ильиной будут читать те дети, которые родились в этом году — воспоминания очень даже читают, и не только специалисты, а больше всего просто читатели, особенно когда они написаны с подлинным блеском; так вот, когда в начале XXI века юная читательница, вместо того, чтобы решать задачи (это тоже будет всегда!), увлечется рассказом о когда-то жившей русской поэтессе, она сделает заключение, что та начала печататься в глубокой старости. Смотрите сами:

"В 1956 году имя Ахматовой, набранное типографским шрифтом, появилось на титульном листе переводов корейской классической поэзии. В конце 1958 года Государственное издательство художественной литературы выпустило еще одну книжку, куда входили не только переводы, но и стихи Ахматовой. Вскоре это же издательство стало готовить новую книгу стихов, без переводов. Эта толстенная, малого формата, изящная книжка появилась весной 1961 года.

И началось. Письма читателей. Звонки из редакций. Все журналы..."

Так и тянет продолжить про юную читательницу XXI века: как она полезет в словарь, или начнет теребить прабабушку...

А с другой стороны — ведь это пишется для тех, кто живет и читает сегодня, кто все еще помнит. Не знаю, когда, собственно говоря, в школе перестали проходить "Постановление о "Звезде" и "Ленинграде"". Мои дети его еще "проходили". Так что взаимный, негласный, всем известный договор

писателя с читателем соблюден: ты нам только намекни, нам много не надо, мы и сами додумаем. И с редактором тоже: не подводите редактора, только не подводите редактора!

И все правы. Читатель (настоящий читатель) живет и в Семипалатинске, и в Жмеринке, и в Славгороде (бывший Пропойск); ни Чуковская, ни Роскина до него так скоро не дойдут (но что в свое время дойдут, — уверена!); а уж он то все вспомнит, на что его наведешь, все свяжет, все поймет. И зато он переживет настоящую радость встречи с Ахматовой, веселой и надменной, царственной и бесприютной, изумительно остроумной и подавляюще молчаливой. Советский читатель — истинный сотворец.

И поэтому — хорошо, что появилась эта книга. В ней даже покаяние есть (тоже слегка, без нажима): что написала в октябре 1946 г. "с гневом, страстью и непримиримостью неопита" в шанхайскую "Новую жизнь" статью, где, как через десять лет автор рассказывает Ахматовой, "Кажется, я упрекала вас за то, что вы ушли в мирок интимных переживаний". И Ахматова ответила с усмешкой (ни в чьих воспоминаниях она столько не смеется, сколько у Ильиной, но это и понятно: с ней было весело): "Что ж. Ведь вас здесь не стояло". А читатель (тот самый, из Семипалатинска) вспомнит: Господи, октябрь 1946! А постановление-то когда? В августе? Значит, это она ТАК откликнулась на "постановление"? Все переведет, все разберет, во все вникнет самый пронизательный, самый дотошный на свете читатель. И оценит, что Ахматова приняла это "с усмешкой".

У Роскиной (так и хочется сказать: на портрете Роскиной) Ахматова тоже нередко смеется. "И за-

смеялась”, "...уже откровенно рассмеялась”, "Смеясь, обратилась ко мне", "залилась своим милым смехом". Веселая Ахматова — всегда прелестно. Но Роскина, тогда еще девочка, — "московская студенточка", приходила к Ахматовой в самое трудное для нее время, навещала, водила гулять, возила в Москву. Делала это, когда Ахматову шельмовали в лекциях, рассчитанных на расширение кругозора поваров и деревообделочников; когда в третий раз арестовали ее сына; когда у нее были отняты продовольственные карточки (помню, в Ленинграде люди этому просто не верили: как, карточки? Ах, лимитные отняли? Но хлебные-то оставили? Хлебные-то оставили!). Семнадцатилетняя московская студентка настойчиво, упрямо, звонит, уговаривает Ахматову принять ее, встретиться, и, наконец, когда понимает, что Ахматова не за себя — за нее боится, "просто за меня боится, я сразу повеселела и ответила ей, что я совсем и не думаю ни о чем таком и думать не хочу". "Страшный круг обреченности был тогда, — пишет Наташа Роскина, — ... но я все это забыла, радуясь, что она сидит рядом со мной и что я тоже ей дорога."

Да, тут не скажешь: "вас здесь не стояло".

Вот эти-то годы, эти шесть лет — с 1946 по 1952 — описаны только у Натальи Роскиной. У Лидии Корнеевны Чуковской вторая книга начинается с 1952 года — после длительного перерыва, о причине которого она в предисловии рассказывает. Наталья Ильина впервые увидела Ахматову в 1954 — "то время" было уже позади, наступало время новой славы. Сколько мне известно, никто из друзей Ахматовой "о том времени" ничего не опубликовал. Есть, правда, рассказ критика Льва Левина, как встречали Новый, 1947 год у Ольги Берггольц — с

Анной Ахматовой, но это как бы одноразовый рассказ — Ольга же Берггольц, которая в то время всегда была рядом, никогда об этом не писала. Только говоря о своих учителях, вспоминая, кто чему ее научил, сказала: Ахматова — мужеству.

С этим соглашаешься сразу; мужеству Ахматова могла научить. Это слово не так давно попало из "оперативного" речевого разряда в резервный: его помнят, но не трогают, дают возможность напитаться новыми смыслами. Есть в языке такие слова — которые люди бессознательно начинают беречь, без приказа или запрета, не треплют по-пустому и тем продлевают их жизнь. И если в данном случае раскрыть его смысл, то оно окажется близким к терпению, может быть — к "гордому терпению", прямым противостоянием отчаянью, унынию. "Слабые женщины вымерли", — говорила Ахматова. Эти ее слова, давно записанные, кажется, еще не пробились в печать.

Наталья Роскина, вспоминая о своих стихах, посвященных Ахматовой, которые та сожгла у нее на глазах, говорит простодушно: "в стихах... не было решительно ничего преступного — я только выражала в них свое восхищение ее мужеством". Вообще, этот эпитет, это понятие — мужество — словно бы к образу Ахматовой приросло, и случилось это в самом начале сороковых годов, с самого февраля 1942 года, когда опубликовано было (в "Правде"! благодаря Фриде Вигдоровой) ее стихотворение под этим названием. Ильина впрямую этого слова не произносит, обходится его псевдонимами: самообладание, броня, гордость, величественность... Лидия Чуковская цитирует критику 1946 года: "даже в стихотворении "Мужество" Ахматова остается аполитичной и говорит л и ш ь (разрядка Л. Ч.) о

сохранении "великого русского слова"". А в 58 году, 8 марта, когда на имя Ахматовой приходит без подписи телеграмма "Мы помним Ваше мужество 42 года", пишет в своем дневнике:

"Ну, а мне довелось помнить ее мужество не одного какого-нибудь года — десятилетий.

И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.

Слово — не музейная реликвия, и хранить его значит творить его. Творить в нем, творить им, сотворять его заново. Ахматова — из тех, кто хранит — сотворяет — русское слово. Какое мужество, какой подвиг выше этого?

И внукам дадим, и из плена спасем
Навеки!

В 1942 году русское слово спасти приходилось из немецкого плена. Но разве и сейчас оно не в плену? И не требует спасения — ежедневного?"

Все написано в 1958 году. Все — живо и сейчас. И нет лучшего объяснения для понятия — что же такое ахматовское мужество?

Нельзя сравнивать — да и не нужно — книгу-подвиг Лидии Чуковской с короткими кинолентами. Воспоминания Натальи Роскиной и Натальи Ильиной — именно такие ленты и на большее не претендуют, вероятно. Но и для их создания понадобилось многое: литературный дар, любовь, зоркий глаз, нежная память, а Наталье Роскиной — еще и безоглядное юношеское мужество. То самое, которому Анна Ахматова бессознательно учила — которым заряжала — своих близких.

Казалось бы — что можно добавить к многолетнему дневнику, где Ахматова — во весь рост? Оказывается, можно: восхитительную сцену, где Ахматова до слез хохочет, слушая, как Раневская поет ее стихи, превращенные в "жестокие романсы" (Н. Ильина, конечно!); рассуждения о религиозности Ахматовой ("Она верила, как современный человек, со всей широтой философского восприятия жизни и с широким приятием православной церкви" (Н. Роскина) и анекдот этот удивительный: Ахматовой "позвонили из антирелигиозного журнала с просьбой дать стихи, и она ответила: Это не мой профиль".

И даже то, что повторяется (отзывы о Чехове, о "Докторе Живаго", о Зошенко и многие другие), не вполне повторяется, как не повторяется одно и то же отражение в нескольких зеркалах: вот еще один ракурс, еще одна игра теней... Сама Ахматова, обратившая в особую папку стихи, посвященные ей, озаглавила эту папку "В ста зеркалах" (Н. Роскина, стр.20).

Да, конечно, портрет бывает похож не только на оригинал, но и на художника. Поэтому под веселым пером Ильиной на первый план выступает Ахматовский "блестящий сатирический дар", хорошее воспитание и тонкая наблюдательность; у Н. Роскиной, которую сама Ахматова журила за злой язык и хвалила "у вас ведь есть эта манера говорить правду", — у Н. Роскиной, в попытках характеристик, можно прочесть, что "у Анны Андреевны были, конечно, свои недостатки, но они ничего в ней не нарушали. Она была очень цельным и крупным человеком, и очень ясным, — как и ее поэзия". Тут можно было бы и возразить, — но так даже интереснее: "вот мы с вами и поспбрили!", как говорят

благосклонные оппоненты на академических диспутах.

Но у всех трех она величественна. Величава. Царственна. "Первая дама империи!", — восторженно восклицает некто Д., смешливый, как чеховский дьякон (Л. Чуковская, стр. 16). "Величественно ступающей Ахматовой в ее невероятной, с облезлым воротником шубе" посвящен один из самых эффектных рассказов-кадров Н. Ильиной — потому что рядом почтительно семенит некто, заслуженный и богато одетый (Н. Ильина, стр. 215). "И внешности, и душевному ее складу было присуще необычайное благородство, которое придавало гармоничную величавость всему, что она говорила и делала" (Н. Роскина, стр. 37). Все три автора пишут про знаменитые Ахматовские молчания, про чувство дистанции, которое она могла внушить кому угодно, про то, что при ней смолкало суесловие, что она огораживалась от докучных своеобразной броней — и все три соглашаются, что в устах Ахматовой ничто не звучало банально. И, конечно, все пишут о юморе. Ильина и Роскина признаются, что почти не записывали разговоров и афоризмов Ахматовой — ни одна из них не хотела быть "Эккерманом при Гете", да и не могла бы. Полностью, щедро, самоотверженно записывала Лидия Корнеевна Чуковская — и это благодаря ей мы не только слышим Ахматовский голос, то ровный, то гневный, то насмешливый, не только видим ее — одинокую и окруженную, доверчивую и замкнутую, надменную и беззащитную; к этому короткометражки Н. Роскиной и Н. Ильиной многое добавили. Лидия Чуковская делает больше: она позволяет нам увидеть самое главное — поэтический труд Ахматовой. Кстати, забавная оговорка Н. Роскиной: "никакой труд, в том

числе обычный, женский, не был для нее привлекателен". Слово труд — это непременно лесоповал или вышивание. Труд многолетний над "Поэмой без героя"; труд над строками стихов, которые заменялись и переделывались, — иногда из-за редактора-труса, а иногда и по совету редактора-друга; труд над переводами — тяжкий, но изредка дававший и радость — вот о чем мы узнаем, в чем как бы соучаствуем, читая "Записки об Анне Ахматовой". Завидуешь будущим литературоведам: все тут есть, и творческая история "Поэмы без героя" тоже — подходи и бери. Поразительная книга: горячая — и документированная.

Из чтения — и перечитывания — всех трех книг возникает образ прекрасной старости. И дышать трудно, и ходить трудно, и с сыном трудно, и Бродский, и Синявский с Даниэлем, и есть вечно присутствующий "Двор чудес", т. е. КГБ — а старость прекрасна. И прекрасной ее сделали не признание, не почести — поздние! — и не труд даже, а любовь и преданность друзей, старых и новых, тех, кто написал о ней и еще напишет.

”ПРОВОДА ПОД ТОКОМ”
(Н. Я. Мандельштам. ”Мое завещание”.
Издательство ”Серебряный век”, Нью-Йорк.
Издание 2-ое, дополненное).

В это издание вошли: ”Мое завещание”; затем — очень большое эссе, которое называется ”Моцарт и Сальери”; затем — воспоминания, не попавшие каким-то образом в основной корпус: ”Мандельштам в Армении”, ”Стихи о Грузии”, ”Стихи Мандельштама для детей”. Кроме того, в книгу включены два интервью с Н. Я. Мандельштам — и два письма к архиепископу Сан-Францискому. И альбом фотографий, среди которых есть очень интересные, и, кажется, не публиковавшиеся прежде.

Несколько слов о ”Моем завещании”: его постигла обычная участь индивидуальных волеизъявлений, и оно осталось чисто литературным документом. Стихи Осипа Мандельштама в издании ”Большой серии Библиотеки поэта” по сей день продаются на валюту, которую получает государство, против какого мятежное волеизъявление и направлено. Почему-то не иссякает этот, питаемый валютой, источник книгоснабжения. Однотомник Мандельштама вышел в 1974 г. очень скромным для Советского Союза тиражом — десять тысяч. И вот — тянется и тянется, и не оскудевает этот небольшой тираж в ”Березке” и у Камкина в Нью-Йорке... На вырученные доллары можно было бы построить — ну, если не эскадрилью, то хоть самолет. Это, упаси

Боже, не совет! Просто раздумье над тайной цифр.

Каждая встреча с прозой Надежды Яковлевны для читателей становится событием. Ощущение от первого чтения — машинописный текст, плохая желтоватая бумага — запомнилось навсегда: что-то вроде удара током непривычного напряжения, а потом так и живешь под этим напряжением, пока читаешь. И еще некоторое время спустя.

На несколько лет раньше, задыхаясь от изумления, мы прочли "Доктора Живаго" Пастернака; грянула в Москве проза Цветаевой, появились несколько страниц Ахматовских воспоминаний — кажется, только еще о Модильяни. Из небытия вернулась в самиздат перепечатанная "Четвертая проза" Мандельштама. Все воспринималось вместе — как "возвращение". Возвращение, прежде всего, языка, сосланного эпохой на периферию за отсталость, несовременность, несозвучность и проч. А в сущности — за стремление (и умение) выразить, а не скрыть, прояснить а не затушевать, индивидуализировать, а не усреднить. За умение развивать мысли вместо того, чтобы растолковывать догмы. Проще говоря — "за мысли".

Но, может, это будет слишком просто — потому что форма сообщения мысли, ее прозрачность и насыщенность напряженными токами человеческой искренности, свидетельствует о высочайшем, последнем мастерстве — в конечном счете тоже для эпохи усреднения неприемлемом. В конце-концов, проза каждого из этих мастеров больше всего выражала своего создателя и его субъективную реальность — так называемое "видение мира". Между тем мир полагалось видеть всем одинаково и через увеличительное стекло.

В прозе Н. Я. Мандельштам, острой, графичной,

опасной как обнаженные провода, изысканной, но и несущей следы языковых напластований советской эпохи, очень индивидуальной и вполне укладывающейся в русло литературной манеры Серебряного века (смотрите, например, прозу и письма Зинаиды Гиппиус) — мы видим ее собственную реальность, и не следует искать тут ни объективности, ни справедливости. По характеру своего дара и темперамента она памфлетист, а не историк, не бытописатель, не жанрист. Не знаю, была ли она "ушиблена в прозу" через поэзию своего мужа, туда разные бывают пути, особенно в России, но чувствовала себя она в ней полной хозяйкой, более того — арбитром. Тут она по отношению к Ахматовой ощущает свое литературное старшинство: "Если бы она (Ахматова — Р. З.) прислушалась к себе и не побоялась сохранить свой голос в записанном прозаическом тексте, мы поразились бы новизне, силе и неожиданности этой новой прозы...". Но Ахматова, по выражению Н. Я., "так и не дорвалась до самостоятельной прозы".

В эссе о "Моцарте и Сальери" Надежда Яковлевна Мандельштам пересказывает собственной прозой ненаписанную — только задуманную статью Ахматовой. Ахматова пришла к выводу, что Моцарт — Сальери, так же, как Чарский — импровизатор ("Египетские ночи"), отражают противостояние: Пушкин — Мицкевич. В 30-е годы, когда Ахматова стала пушкинисткой, такую статью можно было бы напечатать — это бы не сочли святотатством. Мандельштам же по этому поводу сказал, "подумав минуту": "В каждом поэте есть Моцарт и Сальери". "Это решило судьбу статьи — Ахматова от нее отказалась".

Это — стержень эссе. Но сколько драгоценнос-

тей на этот скипетр насажено: мысли о Федорове, об Ахматовой — его бессознательной последовательнице, которая воскрешала умерших поэтических предков. И поразительные слова Мандельштама: "великая славянская мечта о прекращении истории", и его неприятие Федоровских идей; и тут же Пастернак, который "как-то сказал мне про Мандельштама: он вступил в разговор, заведенный до него".

Вечность — и будущая жизнь — и воспоминания о Грузии ("Умывался ночью на дворе"); и о "коннице бессонниц", которой движется искусство народов и топот которой совершенно независимо друг от друга, в разные годы, слышали Мандельштам и Ахматова; целая глава о том, что Н. Я. Мандельштам особенно, как никто, понимала: о "первоначальном импульсе", о "тайнослышанье", о "предпесенной тревоге" у Мандельштама, у Данте, у Ахматовой, у Элиота... Об импровизации, о том, что такое проза поэтов, об утвари и архитектуре, о символистах и акмеистах — и снова о пушкинских Моцарте и Сальери: чем каждый из них был — или осознавался — или казался — в разное время Мандельштаму; сама же Н. Я. то объясняет, то оспаривает идеи мужа. Удивление поэта, тайная свобода, необходимость, которая и есть "связь времен, если не растоптан светоч, унаследованный от предков". Но главная мысль: "зане свободен раб, преодолевший страх"... И — спор с Фрейдом: Н. Я. Мандельштам отвергает подсознательное происхождение "тайнослышания" и сублимацию, в которой, по ее мнению, "есть элемент самооскопления... но скопчество не дало ничего ни в искусстве, ни в науке".

Все это богатство наблюдений, мыслей и выводов — по поводу Пушкинских, исторических, Мандельштамовских и Ахматовских Моцарта и Сальери.

На нашу память непереваримой тяжестью лег еще и "Амедеус" Шефера, видимо, когда-то Пушкина прочитавшего. Кто знаком с этим творением только по Формановскому кинофильму — поверьте: прикосновение Формана его украсило: да и в фильме все-таки звучит музыка Моцарта. Кажется, это тот случай, когда все мы, воспитанные на Пушкине, чувствовали по Сальери: "мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля". Восторг публики, кассовый успех нас не удивляет: это тот же успех, которым в Советском Союзе пользуется Пикуль: "эх, вот читаем, читаем, как Распутин с царицей!.."

И вот после "Амедеуса" Моцарт и Сальери Н. Я. Мандельштам — как родник, пробившийся в Аззелловой пустыне.

Думается, что эта книга нуждается в справочном аппарате. Не типа "Шиллер Фридрих — великий немецкий поэт", а в серьезном комментарии. Книга густо населена — нужен был бы список имен в их отношении к Мандельштамам. В ней множество скрытых цитат — вечный камень преткновения для переводчиков русских книг — надо было бы их раскрыть. Надо было бы объяснить, когда, по какому поводу, были написаны статьи и где они были опубликованы. В общем — указатель-комментарий тут необходим, потому что книга обращена не только к современникам и хорошим знакомым: путь перед ней длинный. А сделать такой комментарий можно — русский Запад большой, профессиональных филологов много (кстати, и Н. Я. Мандельштам была профессиональным филологом, даже диссертацию защитила). Издания на русском языке и переводы книг-воспоминаний Н. Я. Мандельштам делались торопливо — это была сенсация. Теперь сенсация

кончилась, пора обрести спокойствие и помочь читателю — сегодняшнему и будущему.

Помните, у Ахматовой:

Когда человек умирает,
Изменяются его портреты...

Смерть автора утяжеляет его слово, определяет окончательно его удельный вес. Так сказать, с точки зрения вечности.

”Суб специэ этернитатис”, как любил говорить Блок.

САМЫЙ БЛАГОПОЛУЧНЫЙ ИЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В 1986 году умер Валентин Катаев. При жизни ему везло: его не сажали ни разу; его бивали суровые критики-правдисты, но не очень больно; его не объявляли ни космополитом, ни формалистом — вообще, не клеймили, не заушали и, можно, пожалуй, сказать, он был самым благополучным из советских писателей. Он прожил на свете восемьдесят девять лет, из них последние шестьдесят — в довольстве и постоянном литературном труде. Писать он не переставал никогда. И не раз знавал литературные удачи, а порой — особенно в последнее двадцатилетие — его произведения имели успех скандальный, что с литературными стариками случается нечасто.

Это был настоящий конформист, убежденный и убеждающий молодых, что только так и надо, конформист принципиальный. Он не только немедленно откликался на все возможные кампании, он даже забегал вперед, иногда чересчур. Но в одном никто не мог ему отказать: в несомненном литературном таланте. И даже Надежда Яковлевна Мандельштам, не склонная к снисходительности, писала о нем: "Это был очень талантливый человек, умный и острый, из тех, кто составляет самое просвещенное крыло текущей многотиражной литературы".

Талант — дар редкий. И потому Катаев заслуживает нашего внимания и справедливой оценки.

Октябрьская революция застигла двадцатилетнего прапорщика Валентина Катаева в его родной Одессе. К этому времени он уже не сомневался в своем писательском призвании. С фронта он писал старшему другу: "...Все, что может для меня пригодиться в будущем, я записываю и собираю". Печататься он стал с тринадцати лет, — и начинал с верноподданнических и антисемитских стишков в "Одесском Вестнике", газете губернского отделения "Союза русского народа". Но в 1914 г. он показал свои стихи Бунину — надо думать не те, которые он печатал в "Одесском Вестнике", — и они Бунину понравились. С этого началось его ученичество у Бунина; он не раз повторял, что Бунин "учил его видеть, слышать, нюхать, осязать". Позднее, когда Катаев принес учителю свою прозу, — это было в 1918 году — Бунин сказал: "У вас несомненный талант, — это я говорю редко, и тем приятнее мне было увидеть настоящее". Этот разговор записала Вера Николаевна, жена Бунина.

За три года — с февраля 1917 по февраль 1920 — власть в Одессе сменилась 14 раз. Катаев, потерявшийся, как и его сверстники (например, Багрицкий), при белых гордо ходил по городу в добровольческих погонах, при красных — кричал, что готов умереть за советскую платформу.

Н. Я. Мандельштам, вспоминая Катаева, которого она увидела через несколько лет в Харькове, писала: "Это был оборванец, с умными, живыми глазами, уже успевший "влипнуть" и выкрутиться из очень серьезных неприятностей".

Мы ничего в точности не знаем об этих неприятностях, но если учесть, что роман "Ангел смерти" был задуман в Одессе еще при Бунине (т. е. не позже 1920 г.), можно предположить, что в "Тра-

ве забвенья” и ”Вертере” они так или иначе отразились. Похоже, что именно тогда он принял свой девиз, о котором вспоминает опять-таки Н.Я. Мандельштам: ”Не хочу неприятностей... Лишь бы не рассердить начальство”.

Несколько раз он менял манеру, стиль, жанры. И именно в неизменности манеры он печатно упрекнул старого своего друга Михаила Зощенко в 1946 г., после Ждановского ”постановления”, чем больно его задел. Он разоблачал ”врагов народа”, воспевал Беломор-канал, разоблачал формализм и ”вреднейшую теорию искусства для искусства”, объяснял, что хорошая литература должна представлять характеры и положения ”в разрезе исторической большевистской беспощадности”.

В то же время он постоянно был занят вопросами формы. Тут была его ниша, тут, казалось ему, он остается писателем, художником Бунинской школы. В сердцах (или выполняя ”социальный заказ” — кто теперь может сказать?) кричал, что хочет изгнать из романа ”метафору, эту словесную луковицу, в которой вместо сердцевины — пустота”. А потом приписывал: ”А может быть, я заблуждаюсь, и метафоричность — это единственное, что есть ценного в литературе?” Он, конечно, был самым последним формалистом. Что говорить — ему подсказывала политическая обстановка и партийные директивы (хотя членом партии он стал только в 1958 г.); но как говорить — он считал своей прерогативой и заботой. И этой заботе он всегда оставался верен.

В 1922 году Валентин Катаев переехал в Москву. Он работал в ”Гудке”¹, где обосновались южане: Олеша, Гехт, позже — Петров и Ильф. Пишет сатирические рассказы — о самогонщиках, приспособленцах, подхалимах, взяточниках и т. д. Некоторые

из них были переизданы в 1962 г. в сборнике "Горюх в стенку" — несколько странное название, как бы намекающее на бессилие автора сокрушить твердыню порока.

Настоящая литературная известность пришла к Катаеву после опубликования в 1926 г. повести "Растратчики" ("Красная новь" NN 10, 11, 12). Она была отмечена М. Горьким: "Очень талантливая вещь", — писал он. Интересное совпадение: в январе 1926 г. вынесено было специальное решение ЦК ВКП (б), по которому растратчики приравнивались к пособникам классового врага.

Советская литература уже отражала и изображала нэп: "Вор" Леонова, "Рвач" Эренбурга, "Собачий переулочек" Гумилевского и многие другие. Оказывалось, что дурные страсти по-прежнему кипят в людях. Авторы объясняли все это "родимыми пятнами капитализма".

У Катаева растратчики — романтики. Старший из них, бухгалтер Филипп Степанович, когда-то прочел случайную фразу "Граф Гвидо вскочил на коня..." и нарядная эта фраза навсегда застряла в его мечтаниях: "он, может быть, сам воображал себя этим... графом Гвидо". Младший, кассир Ванечка, следует за Филиппом Степановичем из чистой преданности, и еще потому, что неминуемая судьба сталкивает обоих в пропасть, когда курьер Никита докладывает, что все учреждения в том здании, где они служат, уже растратились. Начинается чудовищная феерия, кошмарный сон. После кутежей в Ленинграде и окрестностях растратчики возвращаются домой в Москву и попадают в руки правосудия. Повесть хорошо написана, точно показан быт, язык персонажей характерен для эпохи.

Катаев вспоминает, что когда он назвал свою

фамилию Михаилу Зощенко, тот улыбнулся и сказал: "Растратчики"?

В 1927 г. по предложению Станиславского Катаев на основе своей повести написал пьесу с тем же названием, которая шла в МХАТе. Особого успеха она не имела, но после нее Катаев написал вторую пьесу — на быте и с юмором, — которой суждена была долгая жизнь не только в Советском Союзе, но и на Западе. Это — "Квадратура круга", водевиль, нехитрая история о том, как два студента, жившие в одной комнате, привели туда жен, а потом оказалось, что каждая из жен больше подходит другому по разным, в том числе и "идеологическим" показателям, — и они переживают.

Комедии Валентин Катаев писал до самых 60 —х годов, но ни одна из них не имела успеха "Квадратуры круга".

Между тем в связи с первой пятилеткой явился новый "социальный заказ" — а к этому Катаев очень прислушивался, тем более, что весной 1930 г. появилась первая большая статья, посвященная его творчеству. В этой статье рапповский критик И. Машбиц-Веров обличал Катаевскую философию упоения и наслаждения жизнью. Он признавал за Катаевым "замечательное и бесспорное дарование", но отмечал, что творчество "никуда не зовет", воспитывает существователей и сам Катаев может легко скатиться в стан врагов революции. "Катаев на грани, и на очень опасной грани".

В 1930 г. такая статья еще не означала неминуемого физического уничтожения, как несколько лет спустя, но к ней следовало прислушаться. И весной 1931 г. Катаев отправляется на Магнитострой — одну из важнейших строек первой пятилетки — где проводит около года. В результате чего в 1932 го-

ду появляется его роман "Время вперед!" — об одном дне на строительстве, когда бригада Ищенко (в реальной жизни бригада Сагадеева) поставила мировой рекорд по количеству замесов бетона. Лозунгом тех дней было слово "темп" (в театрах шла пьеса Погодина под этим названием). Катаев продемонстрировал в этой, несомненно, талантливо написанной вещи, свое передовое "ударное" мировоззрение и к Первому съезду писателей пришел как автор одного из первых произведений о первой пятилетке. К этому времени РАПП был распущен и положение советского писателя Катаева укрепилось.

В 1936 г. появляется "Белеет парус одинокий", который А.Н. Толстой назвал "прелестным прозрачным романом... из детской жизни." Подступы к нему начались еще в 1925 году — тогда были написаны рассказы "Родион Жуков" и "Отец", один из лучших рассказов Катаева — автобиографический, покаянный, беспощадный к себе. Его долго не печатали, он появился уже после "Растратчиков", в 1928 г. В 30-м году был написан рассказ "Ушки" — о детстве.

Как случилось с повестью "Растратчики", куда вошли прежде написанные фельетоны на эту тему, так и "Белеет парус..." вобрал в себя материал прежних рассказов. В сущности — это первая книга сорокалетнего писателя о времени и о себе. Правда, для того, чтобы повесть звучала должным образом, он состарил себя на два года и таким образом ввел в повествование первую русскую революцию и связанный с ней детективный сюжет — спасение от полиции революционного матроса с "Броненосца Потемкина". Но главное в повести — ностальгическая нежность детских воспоминаний и картины Одессы — новой, не Бабелевской Одессы,

впервые вступающей в русскую литературу.

В это самое время в Париже вышла другая русская книга о дореволюционной Одессе — роман "Пятеро" Владимира Жаботинского, одного из родоначальников блестящей одесской журналистики. На эту книгу почти не обратили внимания — ее отнесли к разряду автобиографий. Книга же Катаева была переведена на 70 иностранных языков, выдержала множество изданий на родине и стала классикой отечественной детской литературы. Пожалуй, справедливо.

Но Катаев, набредя на золотую жилу, продолжил ее разработку. История Пети и Гаврика, блестяще рассказанная в "Парусе", превратилась в тетралогию. После войны вышел роман "За власть Советов" — о взрослых Пете и Гаврике, которые становятся подпольными борцами в оккупированной немцами Одессе. Роман этот, несмотря на то, что в нем есть отдельные удачи — например, история "коммерсанта поневоле" Колесникова, был читателем принят прохладно, а критикой — неодобрительно. Впоследствии Катаев писал, что редакторы заставили его ввести в роман много ненужного, с его точки зрения, материала; после "оттепели" он сократил его на шестнадцать авторских листов, но и это не очень помогло. Сделавшись редактором нового журнала "Юность" (он пробыл на этом посту с 1955 до 1962 г.), Катаев напечатал там еще две части, "Хуторок в степи" и "Северный ветер", заполняющие промежуток между 1905 и 1941 гг. и не ставшие событием в литературе.

"Видимо и для меня настало время, когда я понял, что перегруженность сложными приемами, художественными образами, метафорами — вредна", — написал он в 1961 г.

А в 1962 году Катаев засел за "Святой колодец".

И выпустил эту книгу в 1965-м. Ему исполнилось 68 лет. Никто ничего подобного от него не ожидал. По слухам, мѣдный поэт стал перед ним на колени: "За Святой колодец!" Катаев, открывший дверь в литературу молодым — Аксенову, Гладилину, Ан. Кузнецову, — вдруг перегнал их, казалось, на пол-столетия, вернувшись назад, в атмосферу прозы своей молодости, "перегруженную сложными приемами, художественными образами, метафорами". Правда, эта проза стала возвращаться в Россию еще раньше — машинописными очерками Мандельштама, томом прозы Цветаевой, завезенным в Москву, публикацией "Ни дня без строчки" Юрия Олеши. В самиздатской рукописи уже ходил первый том воспоминаний Н. Я. Мандельштам — яростное исторжение прошлого из бездонного колодца времени. В этой обстановке произошло рождение нового Катаева.

Катаев тоже отправляется на поиски утраченного времени, и на этот раз всерьез. Более ~~двадцати~~ лет — почти четверть века — он отдал этим литературным изысканиям. Он выстроил за эти годы свою собственную вселенную, где "'завтра' — это только другое имя 'сегодня'", и все три времени — прошлое, настоящее и будущее — сосуществуют в одной плоскости, или кривой; где время вдруг исчезает безвозвратно во время атлантического перелета и сливается с пространством; ибо время — "странная субстанция, которая даже в философских словарях не имеет самостоятельной рубрики, а ходит в одной упряжке с пространством". Причем если в первой книге своей "новой прозы" (так он сам назвал первый том трехтомника, вышедшего в 1977 г.) писатель, соблюдая соцреалистические приличия, все таки мотивирует свое плавание во

времени, здешнем и нездешнем, снами, наркозом, больницей, то в "Вертере" он обходится безо всяких извинений. И если в "Колодце" загробная жизнь — это нечто вроде метерлинковской страны прошлого (с той разницей, что там память вызывает умерших, а тут она вызывает на тот свет тех, кто был жив), то в "Вертере" уже просто "траурные звездные вихри", где носятся души чистилища, "сотни миллионов человеческих тел, насильственно лишенных жизни за одно лишь последнее столетие... фосфорических человеческих тел, смешавшихся с водоротами галактик..."

Все романы, написанные за это время, — новые и новые возрождения времени. Все созданы на вновь достигнутом уровне профессионального мастерства; все написаны с бунинской зримостью, осязаемостью чувственного, внешнего, трехмерного, страстно любимого обоими мира. К тому времени, когда начался "новый период" Катаева, сам Бунин тоже стал проникать на родину — в Самиздате ходил его рассказ "Три рубля", какие-то отрывки из "Жизни Арсеньева", была напечатана "Лица". Он оказал сильнейшее влияние на молодого тогда прозаика Ю. Казакова и на некоторых других. Но у позднего — или нового — Катаева появилось то, чего не было в материальном мире Бунинской прозы: четвертое измерение, зыбкость, размытость граней между действительностью и воспоминанием, реальным и воображаемым, "потусторонним". Слово Катаев прокладывал себе пути через прошлое — в будущее, в память современников и в чистилище.

"Святой колодец" — пограничный столб, с которого начинается новая мемуарная проза Катаева, независимо от того, выступает ли он там под собственным именем или выдуманым именем "Рюрик

Пчелкин”, реальные его персонажи или ”типичны” — т. е. собраны из многих реальностей. В некоторых романах впервые мелькают, как в ”Траве забвения”, лица и сюжеты будущих вещей.

”Трава забвения” — двойной роман: роман Катаева с Буниным, дописанный до посмертных страниц, и эфемерно с ним связанный роман на реальный газетный сюжет — о революционерке Клавдии Зарембе; тут и зерно романа ”Ангел смерти”, о котором думал Катаев десятки лет, пока ”Ангел” не отодвинулся на служебную роль в книге ”Уже написан Вертер” о Чека в Одессе двадцатых годов. Тема эта лежала грузом на его памяти более пятидесяти лет, и это была ”Пытка памятью”.

”Разбитая жизнь или волшебный рог Оберона” — книга о детстве, где воспоминания расположены не хроникально, а врассыпную, по неясным путям ассоциаций, книга, полная людей, родственников, знакомых и вещей — описанных подробнее и лучше людей и лучше воскрешающих время и атмосферу; ”Кубик” — смутный сюжет, предлог для ассоциаций и мыслей об искусстве, и опять, и снова — о Времени, которое ”никуда и никогда не идет... оно гнездится где-то во мне самом...”

Тут появляется Изгнанник, высокомерно задирающий маленькую голову и говорит: ”разве вещь — хозяин слова?” Это Мандельштам, который уже второй раз появляется в ”новой прозе” (впервые — в ”Святом колодце”).

”Кладбище в Скулянах” (1973 г.) — нечто вроде семейной хроники автора по материнской линии — прадед и дед, один капитан, другой генерал, воевавшие за Россию там же, где впоследствии воевал Катаев. ”И мне казалось, что в это время в меня вселилась душа моих предков Бачеев” (в 1970-х гг.

дворянским происхождением уже можно было гордиться!). И опять, там же: "...как странно движется время, если только оно действительно существует, в чем я иногда сомневаюсь, — в разные стороны!"

"Юношеский роман" (1980-1981) — опять Пчелкин, его военная юность и юношеская любовь. "Алмазный мой венец" — молодость и друзья молодости (1978).

Эта книга вызвала негодование молодой интеллигенции, для которой легко угадываемые под шутливыми кличками, которыми их наградил автор, имена Мандельштама, Пастернака, Булгакова и других стали давно уже святыней. Людей возмущало, что Катаев, благополучный опортунист и удачливый приспособленец, ставит себя в один ряд с трагическими фигурами великих. Ему не прощали "одесской бестактности" тона, в котором он о них вспоминал. Советская критика не имела возможности выразить эти настроения, но в журнале "Синтаксис" публицистка Майя Каганская с достаточной резкостью сформулировала эти обвинения.

Между тем он в самом деле был один из них — их ровесником, сотрудником, для многих и другом. В статье 1929 г. "Веер герцогини" Мандельштам негодует на советскую критику за "вопиющую недооценку" повести Катаева "Растратчики". С Булгаковым, как и с вообще "одесситами" он работал в "Гудке". С Олешей был близок всю жизнь, книгу Олеси "Ни дня без строчки" (хоть ему не нравилось выбранное кем-то название и предисловие старинного неприятеля Шкловского) славил, как большое литературное событие.

Все они были мастерами разных степеней, все они — и циничный, преуспевающий Катаев в том числе — принадлежали к тем, кто любит рифмованные и нерифмованные речи о земле и небе больше,

чем землю и небо. Хотели они того или нет.

”Уже написан Вертер” вызвал, может быть, меньший, но более глубокий взрыв возмущения. Катаев не был бы Катаевым, если бы не услышал — хотя он уже давно не ездил в общественном транспорте, — громко звучащее в семидесятые годы трамвайное обращение к евреям: ”сами сделали эту революцию, а теперь уезжают!” И в ”Вертере” чекист Маркин — еврей, и его начальник, узнаваемый Блюмкин, тоже еврей, и в одесском Чека висит портрет Троцкого, которого без парного к нему Ленина не бывало.

Предисловие к журнальному тексту написано, по всей вероятности, работником ”органов”, тайным или явным. Катаева обвиняли в возвращении к антисемитским настроениям юности, когда он печатался в ”Одесском Вестнике”, обвиняли открыто — на Западе, и негласно — в России. И не заметили, что два еврея отдают жизнь за нелепейшую по тем временам вещь — за романтику связавшей их на каторге дружбы (Виктор Гюго!). Не заметили стихов Пастернака, которыми пронизана вещь — от названия до эпилога: ”Что ж, мученики догмата, вы тоже — жертвы века”.

Это тоже — воспоминания. Мемуары, как и все его последние вещи. Пушкин писал Вяземскому о мемуарах: ”не лгать о себе — можно; быть искренним — невозможность физическая. Перо иногда остановится, как с разбега над пропастью”.

Вероятно, у Катаева не раз останавливалось перо. Вероятно, приходилось ему и лгать о себе. Но картины времени, им созданные, настолько точны по изобразительным средствам, ослепительны по цветам, верны по звукам, что само мастерство выражает переменную или постоянную правду жизни.

ЖАБОТИНСКИЙ — ПРОЗАИК

Многие ли любители литературы знали — и знают — в Советском Союзе имя Владимира Жаботинского? Кто слышал странно звучащее для русского уха имя "Альталена"? Поколение тех, кто зачитывался корреспонденциями, статьями и фельетонами Альталены, ушло почти целиком: самым молодым из этого поколения сейчас за девяносто.

В советской литературной энциклопедии вы его не найдете — ни по имени, ни по псевдониму. Не было такого. В "Еврейской энциклопедии", что сейчас том за томом выходит в Израиле, вы найдете большую статью о Жаботинском, — но о его литературной деятельности там сказано немного: перечислены журналы, где он сотрудничал, перечислены основные произведения, не забыто и то, что он высмеивал стремление евреев-интеллигентов ассимилироваться в русской культуре. "В историю еврейского народа Жаботинский вошел как выдающаяся фигура национального возрождения, как один из крупнейших национальных лидеров", — пишет эта энциклопедия.

Все так. Но сегодня хотелось бы напомнить о Жаботинском — замечательном русском прозаике. Может быть, предтече "юго-западного" направления в русской литературе 20-х годов. Хотя, в отличие от младших своих современников, Жаботинский не был ни орнаменталистом, ни ныряльщиком за метафорами, ни певцом молдаванских робингудов.

Он семнадцати лет стал корреспондентом газет

“Одесский листок” и “Одесские новости” — сначала в Берлине, а потом в Риме. В Риме же он стал “Альталеной” — по недоразумению: думал, это значит “рычаг”, оказалось — “качели”...

В 1901 году (ему уже двадцать!) он вернулся в Одессу на каникулы. “К своему великому удивлению, — писал он много лет спустя, — я обнаружил, что за это время я “приобрел имя” как писатель, и господин Хейфец, редактор “Новостей”, предложил мне писать ежедневный фельетон с немалым месячным окладом в 120 рублей”. Два года он был членом редакции и ведущим фельетонистом этой газеты.

Еще и в 30-е годы старые одесситы вспоминали о нем. “Разве сейчас пишут? Вот Альталена писал...” И — с нежной улыбкой: “Альталена!..”

“Редактор Хейфец умел подбодрить способных молодых людей, — вспоминал Жаботинский. — Под его крылышком начали свою литературную деятельность Кармен, автор рассказов о жизни босяков в одесском порту и голытьбы из нищих предместий, и Корней Чуковский... Когда мы входили с ними в кафе, соседи перешептывались друг с другом: может, было бы лучше, если бы мы не слышали, что они шептали, но поверьте мне, они пели нам дифирамбы, и Кармен подкручивал кончики своих желтых усов, Чуковский проливал свой стакан... ибо его чрезмерная скромность не позволяла ему сохранить спокойствие духа, а я в знак равнодушия выпячивал нижнюю губу”...

А вот как о том времени вспоминает Корней Иванович Чуковский:

“Он ввел меня в литературу. Я... создал свою собственную “философскую систему”... но никто не хотел меня слушать. И вдруг я встретил его. Он

выслушал мои философские бредни и повел меня к Израилю Моисеевичу Хейфецу, редактору "Одесских новостей", и убедил его напечатать отрывок из моей нескончаемой рукописи. Хейфец напечатал. Это случилось 6 октября 1901 г. После первой я принес Альталене вторую, третью — он пристроил в газете и эти статейки. Получив первый гонорар, я купил себе новые брюки... и вообще стал из оборванца писателем. Это совершенно перевернуло мою жизнь. Главное, я получил возможность часто встречаться с Владимиром Евгеньевичем (Жаботинским), бывать у него... От всей личности Владимира Евгеньевича шла какая-то духовная радиация, в нем было что-то от пушкинского Моцарта да, пожалуй, и от самого Пушкина... Он был полон любви к европейской культуре... Я, живший в неинтеллигентной среде, впервые увидел, что люди могут взволнованно говорить о ритмике, об ассонансах, о рифмоидах... Мало что он вовлек меня в литературу, он уговорил редакцию "Одесских новостей" послать меня корреспондентом в Лондон".

Все это написано в письме к Рахели Павловне Марголиной, в Иерусалим из Переделкина, более чем 60 лет спустя — в сентябре 1965 года. И постскриптум:

"Пишу это в больнице — считаю своим долгом оставить для нового поколения людей хоть краткую памятку о большом человеке, который сыграл огромную роль в моей судьбе и которым я всегда восхищался".

Они были фактически ровесниками — полтора года разницы, а восьмидесятипятилетний Чуковский с пылом юности вспоминает о Жаботинском как о старшем друге. "Я и прежде смотрел на него снизу вверх", — признается он в другом письме. Он ци-

тирует по памяти его стихи и эпиграммы-экспромты: например, на себя же:

Чуковский Корней
Таланту хваленого
В три раза длинней
Столба телефонного.

Или лирическое:

Жди меня, гитана,
Ловкие колена
Об утесы склона
Я изранил в кровь.
Не страшна мне рана,
Не страшна измена,
Я умру без стона
За твою любовь.

Это стихотворение про гитану Чуковский вспоминает в нескольких письмах. И всегда за этим следует: а потом он — то есть Жаботинский — так изменился!

В 1916 году они встретились в Лондоне. Жаботинский был там по делам создания "еврейского легиона". "Он живо интересовался литературой, — вспоминает Чуковский, — расспрашивал меня об Ал. Толстом, о Леониде Андрееве, — но чувствовалось, что его волнует другое и что общих интересов у нас нет. Что с ним было дальше, я не знал, покуда не прочитал замечательную книгу "Story of His Life" Джозефа Б. Шехтмана" (русского перевода этой книги не существует и по сей день).

Ну, вероятно, Корней Иванович все таки что-то слышал о Жаботинском-сионисте. Но очень вероят-

но, что он не знал ничего о Жаботинском-русском или, как говорят сейчас, "русскоязычном" писателе. Не знал романа "Самсон Назорей" (1926), романа "Пятеро" (1936), не знал книги "Слово о полку" (1928), в прошлом году переизданной в Израиле издательством "Алия".

Не знаю, как "Самсон Назорей", а "Пятеро" ему бы понравились. Не идеей (сионистским идеям Жаботинского Чуковский был и остался чужд), а необыкновенно ярким, звучным, дышащим образом Одессы, Одессы их юности, Одессы перед 1905-м годом. Странное совпадение: в том же 1936 году, когда вышли из печати "Пятеро", появился в Москве "Белеет парус одинокий" Катаева, с той же Одессой начала века — только захваченной революцией 1905 года, в которой принимают посильное участие юные катаевские герои — интеллигентный Петя и вполне пролетарский Гаврик.

Но революционные события у Катаева — это необходимая в те годы глазурь, а настоящий предмет изображения — все то же шумное, кипящее, странное поселение на месте старинной турецкой крепости Хаджи-Бей, и тот же воздух, и то же синее вдали и зеленое, когда рядом, Черное море. Романы похожи — может быть потому, что у них общий источник: Альталена. Катаев его, без сомнения, читал.

"Пятеро" — это роман о вполне ассимилированной, благополучной, интеллигентной одесской семье Мильгром. В этой семье пятеро детей — три сына и две дочери. Все они так или иначе гибнут: один бросается спасать неведомо кого, услышав крик о помощи, — и проваливается под лед ("Божий дурак" называет его автор); другой погружается в разврат, и его ослепляют серной кислотой; третий

— надежда семьи — ради карьеры становится лютеранином и, таким образом, погибает для семьи; одна дочь уходит в революцию и кончает жизнь подсадной стукачкой в советской тюрьме; наконец, младшая, Маруся, "декадентский цветок", становится женой и матерью, но гибнет от пожара на кухне... Эти судьбы, по идее автора, должны иллюстрировать его мысль: нет будущего для ассимилированного еврейства.

Но дело не в идее, а в том, что характеры, задуманные как иллюстрация, разрушили иллюстративные рамки, стали живыми и запоминающимися, а сама Одесса оказалась не фоном, не раскрашенным сценическим задником, а своеобразной героиней повествования, — к ней обращены лирические признания Жаботинского в любви, "что вовек не проходила и не пройдет".

В этом романе действует "Я" — сам Жаботинский. Он не просто рассказчик, он принимает некоторое участие в действии: сближается то с тем, то с другим из пятерых, бывает в семье, слегка влюбляется в рыжую Марусю — младшую — и признается, что ее рыжие волосы отдал героиням других своих романов. Он себя изобразил как фигуру второстепенную — действительно, он никак не толкает действие; главные интересы его лежат вне этой семьи (он к тому времени уже стал сионистом); однако читателю очень хочется узнать еще что-нибудь о самом рассказчике...

И вот теперь русскоязычный читатель имеет эту возможность. Издательство "Алиа" соединило в одном томе "Повесть моих дней" (в оригинале написанную на иврите) и "Слово о полку", написанное по-русски.

Надо сказать, что "Повесть моих дней" переве-

дена блестяще (переводчик Н. Бартман): то ли содержание повести этому помогает, то ли автор думал все-таки по-русски, и получился как бы обратный перевод — но это прекрасный русский язык, чистый, точный, с юмором и легким южным акцентом. Опять мы видим тут Одессу начала века: "Одним из трех факторов, которые наложили печать свободы на мое детство, была Одесса". Мы знакомимся с матерью Жаботинского ("я убежден: каждая, даже самая обычная женщина — ангел, и это правило не знает исключения"); знакомимся с молодым Альталеной и его друзьями, видим его в Италии, в Петербурге, в Берне, узнаем, что он сам думает о своем характере: "то, что произошло другому, не произошло мне. Даже от друга я слышал: ты обостряешь противоречия". Мы видим его на шестом конгрессе сионистов в Базеле, в 1903 году. "Довольно! Не нужно!" — кричали со скамьи оппозиции, когда слово в защиту Герцля взял никому не известный юноша, доказывавший, что нельзя смешивать этику и тактику. На шум прибежал сам Герцль, спросил у д-ра Вейцмана: "Что он говорит?" — "Вздор!" — решительно ответил Вейцман. "Тогда Герцль подошел к кафедре сзади, — пишет Жаботинский, — и промолвил: "Ваше время истекло". Это были первые и последние слова, которые я удостоился услышать из его уст. Я сошел, не закончив своей защитительной речи, которую отверг человек, на чью защиту я встал".

Эту книгу все время хочется цитировать. Но мы тут остановимся и скажем только, что кончается она 1914-м годом.

"Слово о полку" имеет подзаголовок: "История еврейского легиона по воспоминаниям его инициатора".

И — опять хочется цитировать: пересказывать Жаботинского обидно. Ну вот, например: когда он в 1909 году был в Турции корреспондентом, "а в Высокой Порте пановали младотурки, сложилось у меня незыблемое убеждение: где правит турок, там ни солнцу не светить, ни траве не расти". "Я держусь очень высокого мнения о газетном ремесле: добросовестный корреспондент знает о стране, откуда пишет, гораздо больше любого посла; по моим наблюдениям — нередко и больше любого местного профессора. Но в данном случае несложная правда о Турции была известна не только профессорам, а даже послам". Правда эта была в том, что Турцию ждет неминуемое поражение — и Жаботинский с той минуты, как Турция вступила в войну, стал "за войну (Антанты — Р. З.) до победного конца", ибо "вне распада Оттоманской империи нет надежды на восстановление Палестины".

Почти с самого начала войны Жаботинский в качестве корреспондента газеты "Русские ведомости" "скитался по разным углам невеселого тогдашнего света". И когда идея о том, что надо создать еврейский легион для освобождения Палестины, овладела им (или хотя бы представилась как возможная реальность), — он начал борьбу, в результате которой легион в августе 1917 года был создан.

Книга очень густо населена. Кого только мы там не встречаем! И Макса Нордау, и русского консула Петрова, и будущего наркома иностранных дел Чичерина, и национального героя Израиля, полного георгиевского кавалера за Порт-Артур — Иосифа Трумпельдора, и русского писателя Амфитеатрова, и французского публициста Гюстава Эрве; есть и Ротшильды, отец и сын, и историк Сеньобос, и дипломат К. Д. Набоков, и Алленби, и Бальфур, и Фи-

льби (отец шпиона), солдаты и лорды, министры и портные... И читается это все как авантюрный роман, и дает к тому же немалую информацию: как это начиналось, откуда что пошло, куда идет...

Конца — создания еврейского государства (где он завещал себя похоронить, когда оно будет создано) — Жаботинский не увидел: он умер от инфаркта летом сорокового года, опять, как в 1916 году, трудясь над созданием еврейского легиона — нового, для Второй мировой войны.

У него было много врагов. Теперь, когда прошло около пятидесяти лет со дня его смерти и прах его уже 22 года как покоится в Иерусалиме, врагов по разным причинам стало меньше. Теперь число его друзей растет и в России, куда какими-то неисповедимыми путями пробиваются его статьи и книги. И нередко приходится слышать от тех немногих, которые приехали в последнее время:

— Какой писатель! Ведь это он мне объяснил...

Какой писатель! Литература для него не была делом кровавого пота — таким делом для него был сионизм. Литература была его "хобби". Но к ней он вновь и вновь возвращался до самого конца жизни, потому что никогда не переставал быть писателем. Фраза его — легкая и блестящая, а мысль, облеченная в эту нарядную фразу, полновесна и обеспечена всем золотым запасом личного опыта! И какого опыта! Поэт и воин, журналист и политический мыслитель, романист и организатор, космополит и сионист... И так или иначе все эти грани удивительной личности, масштаба деятелей и художников итальянского Возрождения, отразились в его литературном творчестве.

Какой писатель!..

ПЕТЛИСТАЯ ЖИЗНЬ

Книга А. М. Гольдберга об Илье Эренбурге

Поэт Владимир Лившиц, ленинградец, переехавший в Москву и не без труда купивший квартиру в писательском кооперативном доме, однажды летним вечером возвращался к себе. Из открытого окна доносился голос. Он не знал, чье это было окно, но голос знал хорошо и давно. Владимир Лившиц был человек доброжелательный. Он поднялся по лестнице на второй этаж и позвонил. Дверь открыл писатель Лев Шейнин.

— Извините, — сказал Лифшиц, — у вас Би-Би-Си вещает вовсю. Может, лучше закрыть окно?

— Мгм, — сказал Шейнин. — Заходите, пожалуйста. Я вас познакомлю.

Вошли. Навстречу поднялся немолодой хорошо одетый человек.

— Знакомьтесь, — сказал хозяин. — Это Анатолий Максимович Гольдберг.

Мы все знали его голос. Знали это имя, отчество и фамилию. Голос был спокойный, по-старинному интеллигентный, убедительный. Убеждал он своих слушателей всегда в одном — какова бы ни была тема его обзора — в необходимости быть терпимыми.

Анатолий Максимович Гольдберг родился в Петербурге в 1910 году. После революции семья эмигрировала в Берлин, а оттуда в середине 30-х годов — в Англию. К этому времени Анатолий Мак-

симович свободно владел несколькими европейскими языками. В Берлине он изучал архитектуру, но в 1939-м, за неделю до того, как разразилась война, стал работать на Би-Би-Си. В 1946 году на Би-Би-Си была создана русская служба; с этого времени началась популярность Анатолия Максимовича в Советском Союзе.

Последние годы своей жизни — он умер в 1982 году — Гольдберг работал над книгой об Илье Эренбурге и успел закончить ее первый вариант. Многолетний корреспондент Би-Би-Си в Москве Эрик де Мони отредактировал рукопись и снабдил книгу введением и послесловием. В 1984 году книга — разумеется, на английском языке — вышла в свет под названием: "Илья Эренбург. Литературная деятельность, политика и искусство выживания".

И опять звучит со страниц такой знакомый нам голос, и опять он дает нам обширную документированную информацию, — на этот раз о самом противоречивом писателе нашего времени. Анализирует его творчество, его поступки, опять учит нас терпимости. Терпимости! По отношению к тому Эренбургу, о котором мы до сих пор спорим с пеной у рта!

Почему именно Эренбург заинтересовал Гольдберга настолько, что он написал об этом деятеле большую книгу? Эрик де Мони в предисловии объясняет это общностью происхождения, занятий и интересов: оба происходят из культурных еврейско-русских семей, оба блестящие журналисты, — оба всю жизнь занимались проблемой Запад-Восток, оба, хоть и с разных позиций, внимательно наблюдали за развитием советского режима и — несколько странное для нас уподобление — оба не раз подвергались острой критике.

Так или иначе, но общность, несомненно, была, хотя Эренбург был почти на двадцать лет старше. Гольдберг был еще берлинским студентом, когда Эренбург стал его любимым писателем. Разница в возрасте многое предопределила.

Впервые Гольдберг увидел Эренбурга в Берлине в конце двадцатых годов, на встрече советских и немецких писателей. "К тому времени я прочел все его книги, — вспоминает он. — Я был околдован этим человеком"... То было время молодой писательской славы Эренбурга: Замятин считал его самым современным из русских писателей, "внутренних и внешних". Евгений Петров вспоминал, что в 20-е годы "все" ругали МХАТ и проповедовали "Хулио Хуренито". Да и статья Блока "Русский денди", в которой говорилось, что вся молодежь читает Эренбурга, была у всех в памяти. Но у советских официальных лиц Эренбург был не в чести: тогда, в Берлине, во время его выступления половина присутствующих — представители советского посольства и советской торговой миссии — покинула зал.

"Я был слишком молод и слишком преисполнен уважения, чтобы подойти к нему тогда, — пишет Гольдберг, — но я надеялся, что скоро увижу его опять". Однако второй раз он увидел Эренбурга только в 1950 году — в Лондоне, на митинге пресловутых "сторонников мира". Писатель, которым Гольдберг так восхищался, стал теперь, по его словам, просто "занудой". И Гольдберг решил, что прежнего Эренбурга больше нет. Но через несколько дней, побывав на его пресс-конференции, он пришел к выводу: "поскребите Эренбурга — и вы обнаружите Эренбурга". В сущности, это и есть главный тезис всей книги.

Книга построена хронологически: беспокойное детство, революционное отрочество, богемная юность — и так все периоды жизни Эренбурга, до самого конца. Гольдберг пользуется в основном материалами, которые предоставляет сам Эренбург: его мемуарами, автобиографиями, очерками. Пользуется он и доступными ему воспоминаниями современников: без ссылок, если они живут в Советском Союзе, со ссылками — если живут на Западе (например, Роман Гуль, который вспоминает, как в парижском памфлете 10-х годов Эренбург назвал Ленина "старшим дворником").

По поводу революционной деятельности своего героя Гольдберг замечает, что в единоборстве за душу Эренбурга двух Марксов — "основоположника" и его однофамильца, известного русского издателя — победил второй: Эренбург предпочел литературную деятельность революционной и навсегда вышел из партии большевиков. Но так как писатель всегда "нуждался в вере", то был момент, когда он уже готовился, как его друг, поэт Макс Жакоб, стать католиком. Человек крайностей, Эренбург под влиянием другого поэта, Франсиса Жамма, едва не стал монахом, — тоже "чуть было не стал"...

Тем не менее Гольдберг считает, что Эренбург на всю жизнь сохранил если не религиозность, то эстетическое отношение к религии. Незадолго до смерти он сказал канадскому ученому Остину, что существует только две разновидности людей: одни созданы по образу и подобию Божию, другие считаются людьми лишь потому, что ходят на двух ногах.

Говоря о знаменитом парижском кафе "Ротонда", где прошла юность Эренбурга и его прославленных друзей (среди которых были Модильяни, Сутин, Ри-

вера, Пикассо), Гольдберг среди прочего замечает, что не все посетители "Ротонды" жили искусством. Например, у чекиста, допрашивавшего Эренбурга в 20-м году и утверждавшего, что он видел его именно в "Ротонде", были явно другие склонности.

Так и строится книга: факты, корректирующие эренбургские записи; записи, интерпретирующие факты, — и примечания автора, иногда печальные, часто шуточные, устанавливающие пригодную для 80-х годов меру вещей.

Эренбург для всех — это "человек, сумевший выжить". Секрет этого выживания, загадочная судьба Эренбурга стала сюжетом книги. Несколько глав кончаются словами: "казалось, что он кончен как писатель", "над ним нависает смертельная опасность", "и вдруг..." Текст Гольдберга читается не как жизнеописание реального лица, а как детективно-приключенческий роман.

Книга условно делится на три части: "Свобода", "Закрепощение", "Высвобождение". Именно средняя часть дает ключ к пониманию, каким образом удалось Эренбургу выжить. Гольдберг считает, что причина тому — "роман" Эренбурга со Сталиным. Странный "роман", где действующие лица никогда не встречались, — только один раз говорили по телефону. Тем не менее, автор приходит к выводу, что единственный покровитель Эренбурга, *deus ex machina* во всех его затруднениях — Сталин и никто другой. Этот "роман" начинается, вероятно, с 1934 года, когда Эренбург, корреспондент "Известий" в Париже, предложил советскому издательству свою книгу "День Второй". Издательство ее отвергло. Эренбург напечатал за свой счет в Париже считанные экземпляры и разослал их членам По-

литбюро. "Сталин в минуту прозорливости понял, вероятно, что нестандартная пропаганда может очень даже пригодиться. Это свое отношение к Эренбургу он сохранил надолго", — комментирует Гольдберг. В другом месте он говорит: "Несмотря на весь свой параноический бред, диктаторы иногда поддаются нехарактерному импульсу, — по-видимому, это случилось со Сталиным в отношении Эренбурга".

В том же 1934 году, перед созывом "Конгресса в защиту культуры", Сталин даже собирался принять Эренбурга, но встреча не состоялась из-за убийства Кирова. В первые годы гражданской войны в Испании (1936-1937) Эренбург умудрялся не писать о "троцкистских бандитах". Как это ему удалось? — недоумевали западные журналисты. Вероятно, Сталин этого от него не требовал.

В декабре 1937, в разгар сталинского террора, Эренбург с женой приезжает в Москву. Но когда он хочет вернуться в Испанию, его не выпускают. Он пишет Сталину — Сталин отказывает. Тогда — все считают это безумием — он пишет второй раз, "жалуется Сталину на Сталина" — и получает разрешение. Эренбург дружит с Бухариным — и тоже ничего. Но в марте 1938 г. он получает билет на судилище, где Бухарина приговорили к смерти (Гольдберг полагает, и вероятно справедливо, что билет был вручен Эренбургу по указанию Сталина — первая сатанинская усмешка вождя).

Перед самой войной происходит, наконец, первый и последний телефонный разговор со Сталиным по поводу трудностей печатания второй части "Падения Парижа". "А вы пишете, — говорит Сталин. — Может, вместе нам удастся ее протолкнуть".

В 1945 году, после статьи Александрова в "Правде", опала кажется неминуемой — но нет: опять

Эренбургу находится место в сталинских планах, он становится главным пропагандистом так называемой "Борьбы за мир".

В 1947 комитет по Сталинским премиям хочет дать Эренбургу вторую премию. "А почему не первую?" — спрашивает Сталин.

В 1949 происходит арест Еврейского атифашистского комитета: Эренбург остается на свободе, хотя он был его членом. Идет широкое наступление на "космополитов" — первая атисемитская кампания в Советском Союзе, — но Эренбурга не трогают. Наконец, начинается "дело врачей" — но вскоре "роман" со Сталиным прервет смерть вождя.

Рассказывают, что Галина Серебрякова, писательница-коммунистка, вернувшаяся после XX съезда из ссылки, упрекала Эренбурга: "Вы были любимцем Сталина!" — "Это была односторонняя любовь, — отвечал Эренбург. — Я его боялся".

Похоже на правду.

Но Гольдберг не был бы Гольдбергом, если бы не рассказал, со всеми "про" и "контра", во что обошлось Эренбургу это высокое покровительство. То, что началось как поиски новой веры, закончилось почти полной сервильностью. "Я говорю "почти", — пишет Гольдберг, — потому что даже в этой удушливой, гниющей атмосфере ему удалось сохранить крошечную долю независимости. Крошечную — по западным стандартам и потому на Западе почти не замеченную, но очень заметную в России, даже если от нее никому, кроме самого Эренбурга, не было ни тепло, ни холодно".

Вере, которую, по мнению Гольдберга, всю свою юность искал Эренбург, посвящено несколько очень интересных страниц. "Существует тенденция, — пи-

шет Гольдберг, — особенно среди прагматичных англосаксов, снимать со счетов идеологию как нечто незначительное. Но на всем протяжении истории теория была важнее, чем практика, а идеалы значили больше, чем результаты”. Коммунизм, который Гольдберг называет новой церковью XX века, извлек всю свою силу, “как и предшествовавшие ему церкви”, из этических принципов, после чего не задумываясь втоптал их в грязь. Но и тут сила идеологии была такова, — продолжает он, — что верующие охотно прощали прегрешения коммунистическим патриархам. Как иначе можно объяснить, что умные и интеллигентные люди на Западе не видели сталинских преступлений? Почему они отказывались поверить, что он их совершал? А если они были не до конца слепы, — почему они прощали ему эти преступления, считая их исторической необходимостью или, в крайнем случае, эксцессами, неизбежными, к сожалению, в нашем несовершенном мире?

И, наконец, главный вопрос: почему даже после хрущевских разоблачений так мало людей на Западе вышло из коммунистических партий? На это есть только один ответ: боялись, что придется жить без веры.

Этой боязнью Гольдберг объясняет и то, что в 1932 году Эренбург окончательно солидаризировался с советским режимом, став парижским корреспондентом “Известий”.

Но Гольдберг, конечно, не забывает и о менее возвышенных причинах такого поворота: литературное положение Эренбурга пошатнулось, на Западе ни одна книга после “Лазика Ройтшванца” (так никогда и не изданного в Советском Союзе) особого успеха не имела; в Советском Союзе раппов-

ская критика превратила Эренбурга в дежурное блюдо. А Сталину, набравшему силу, "не нужен был попутчик, несогласный с машинистом". Надо было принимать решение, иначе он был бы объявлен "внутренним эмигрантом", и его книги в Советском Союзе перестали бы выходить. А тут, к радости "попутчиков", был распущен РАПП, это сулило какие-то просветы в литературной жизни. Однако Эренбург понимал, что расстается со свободой и должен овладеть искусством молчания — хотя, замечает Гольдберг, еще не знал, какое молчание ему предстоит. И все-таки сорокалетний "Павел Савлович", как называл Эренбурга Виктор Шкловский (Савл — имя, которое носил Павел в бытность свою гонителем Христа), сказал; наконец, "да" вместо вечного "нет", ибо, если он и не мог любить все, что любили коммунисты, то мог хотя бы ненавидеть то же, что и они. Так идеология давала оправдание (или извинение) его поступку, пишет Гольдберг.

Путь к полному закрепощению, к "сервильности" был постепенным. В 1934 году Эренбург еще "делает отчаянные усилия, чтобы остаться верным себе". На Первом съезде советских писателей он произнес горячую речь о литературе. "Мы должны говорить своим читателям правду, которую чувствуют все... Наши люди так же мало похожи на ставшее классическим изображение ударников, как их угнетенные предки — на влюбленных пастушков из пасторалей".

Речь шла о том, что литература должна быть литературой, а не агиткой. Он заявил, что нет в СССР и подлинной литературной критики: писателя то возносят на пьедестал, то с грохотом сбрасывают оттуда — и тогда это немедленно сказывается на его общественном и финансовом положении.

”Нельзя рассматривать ошибки и недостатки писателя как преступления, а его успехи — как реабилитацию”. Речь Эренбурга закончилась под бурные аплодисменты.

Правда, замечает Гольдберг, роман, который сам Эренбург написал после съезда — ”Не переводя дыхания” — оказался безжизненным и бесцветным, да и статьи его в ”Известиях” потускнели. Но зато в том же 1934 году Эренбург впервые выступает как политик: ему, вместе с французским писателем Жаном-Ришаром Блоком, принадлежит идея созыва международного антифашистского конгресса культуры. Он был его организатором, он же и освещал его в ”Известиях”. По мнению Гольдберга, этот конгресс — предтеча, прототип всех грядущих конгрессов ”защитников мира”. Роль Эренбурга тут уже двойственна: с одной стороны, он сделал все, чтобы на конгресс были выпущены из СССР Бабель и Пастернак, с другой — давал отпор ”провокациям”, т. е. вопросам о судьбах пострадавших в СССР писателей, например, арестованного Виктора Сержа.

Но тридцать четвертый год — это год укрепления власти Гитлера, и для Эренбурга конгресс — начало его личной войны против нацизма.

Трансформация Эренбурга хорошо прослеживается по его произведениям. В 1935 г. он заканчивает ”Книгу для взрослых” неожиданным описанием того, как в кремлевском дворце, на съезде стахановцев, он ”увидел человека, чье имя повторяют во всем мире”. Имя этого человека — Сталин.

”Ни один советский писатель не мог позволить себе не восхвалять Сталина”, — оправдывает Гольдберг своего героя. В мемуарах Эренбург пишет, что нескончаемые истерические овации в честь

Сталина его смутили. Но 35-й год ознаменовался не только восхвалениями Сталина. Газеты шумно "разоблачали" Шостаковича, Мейерхольда и Пастернака. "Книга для взрослых" вышла отдельным изданием в 1936 году — уже в типографии пришлось убирать имена тех, кто оказался жертвами сталинского террора.

Но в это время Эренбург уже был в Испании. Он поехал туда из Франции, без разрешения "Известий", и стал испанским корреспондентом, так сказать, явочным порядком. О стиле его "Испанских писем", печатавшихся в газете в течение двух с лишним лет, Гольдберг замечает, что они эмоциональны, не претендуют на объективность и очень напоминают его будущие "страстные корреспонденции времен второй мировой войны". В это же время Эренбург идет еще на одну уступку. Как пишет Гольдберг, "он прошел свое первое испытание на выживание", и это оставило неизгладимый след. "Троцкисты", как Сталин приказал называть всех несогласных с ним левых, появились и в статьях Эренбурга. "Еще один шаг к полной сдаче позиций", — с грустью комментирует Гольдберг.

Мюнхенское соглашение разъярило его; германосоветский пакт — оглушил. Эренбург молчал более года. Только вернувшись на родину, он напечатал несколько очерков о том, что видел во Франции, и первую часть романа "Падение Парижа". Потом грянуло 22 июня 1941 года.

Деятельность Эренбурга во время войны, которой Гольдберг посвящает 25 страниц, его изумляет. Больше всего изумляет, каким образом этот интеллектуал, космополит, западник сумел найти слова, которые доходили до сердца русского солдата. Изумляется — и объясняет так, как это может объяс-

нить англичанин: у русских не было Уинстона Черчилля, чей "магический голос" воодушевлял Англию с самого начала; когда немцы перешли русскую границу, Сталин молчал, говорил всего-навсего Молотов. Русские не знали, что такое фашизм, и по старинке уважали Германию. А Эренбург знал, что Германия поддалась варварству; он объяснял солдатам, что этого врага нельзя уважать — его надо ненавидеть.

В конце войны он боялся, что Запад начнет спасать нацистов от справедливого возмездия. И по мере того, как советские войска приближались к Берлину, тон его статей становился все более угрожающим. Когда советские войска вошли в Майда-нек, союзники еще не видели нацистских лагерей уничтожения. "Громы Эренбурга уже раздражали западный слух", — пишет Гольдберг.

"Я уважаю американскую честность и британское правосудие, — цитирует Гольдберг. — Но когда я думаю о правосудии, я имею в виду не парик судьи и не фрак дипломата, а выцветшую гимнастерку и запекшиеся губы русского солдата. Правосудие на Запад несут наши люди".

Между тем на Западном фронте немцы толпами сдавались союзникам — иногда по 40 тысяч в день. Гольдберг широко цитирует статьи Эренбурга, объясняющие это страхом возмездия. Сам же он считает, что непримиримый тон эренбургских статей сыграл свою роль в том, что немцы на Восточном фронте не сдавались, а дрались отчаянно. Статьи Эренбурга широко использовала гитлеровская пропаганда, запугивавшая немцев.

Эренбург рассчитывал войти в Берлин вместе с советскими войсками. Как известно, этого не произошло — 14 апреля в "Правде" появилась статья

”Товарищ Эренбург упрощает”, подписанная Александровым, тогда заведомо пропаганды ЦК. Гольдберг считает, что она, несомненно, продиктована Сталиным. Александров, в свою очередь ”упрощая” Эренбурга (по замечанию Гольдберга), объяснил, что немцы не одинаковы, что некоторые офицеры даже хотели ”взорвать” Гитлера, и что товарищ Эренбург не отражает советского общественного мнения. Так или иначе, Эренбург приобрел на Западе репутацию германофоба, ненавистника немцев, ”а по ряду причин это Сталину в тот момент уже не подходило”.

Он понадобился позже — уже для ”холодной войны”. Гольдберг считает одной из причин ”холодной войны” стремление Сталина снова изолировать страну, чтобы ”сохранить тот род государства, который он был намерен укреплять” (нельзя не заметить мягкости и осторожности определения Гольдберга).

В сталинской схеме Эренбургу отводится особое место. Он должен обличать Запад — и он же должен вести диалог с западными поклонниками Советского Союза, закрывая глаза на зло у себя дома.

Однако мог ли Эренбург закрыть глаза на Ждановские гонения на творческую интеллигенцию, на разбухшие от вчерашних военнопленных концлагеря, на преследования космополитов, наконец? Оказывается, мог. В 1948 году, когда в Советском Союзе развернулась широкая кампания против ”космополитов”, Эренбург уже снова был в чести. Для человека такой обширной культуры, как Эренбург, преследование ”низкопоклонства перед Западом” и шовинистическое превозношение всего русского должно было быть особенно противно. ”В этих условиях

коллорабационизм мог привести лишь к одному — к сервиллизму; до него и унизился Эренбург”, — горько констатирует Гольдберг.

Он поясняет, что Эренбург никогда не был сионистом, хотя и писал в юношеских стихах, что евреи должны вернуться в Иерусалим, даже если им суждено там погибнуть; хотя и доказывал в “Хулио Хуренито”, что полная ассимиляция евреев — это фикция; хотя и называл евреев “ложкой дегтя” в массе человечества, привкусом, которого бы не хватало, если бы его не было. Эренбург, как и большинство либералов и социалистов, считал (как и сам Гольдберг, как и его родители, вероятно), что национализм — зло, которое исчезнет с наступлением эры разума. Но после Гитлера, после гибели шести миллионов евреев вера в прогресс была поколеблена.

Во время войны, когда подтвердились самые страшные предсказания о предстоящих трагедиях еврейского народа, голос Эренбурга гремел, “как глас разгневанного еврейского Бога”. “Его имя стало талисманом для евреев всего мира”, — говорит Гольдберг.

Эренбург был виднейшим членом Еврейского антифашистского комитета, того, который был арестован в 1949 году. Естественно, он тоже ждал ареста — тем более что член ЦК Головенченко уже “ликуя, объявил на большом собрании, что Эренбург разоблачен как враг народа и арестован”. В тревоге и ужасе Эренбург написал Сталину — немедленно последовал звонок от Маленкова. “Откуда пошел этот слух?” — спросил Маленков. — “Об этом я хотел спросить вас!” — ответил Эренбург.

Сталину все еще были нужны его услуги.

Один иностранный журналист, находившийся в

тюрьме вместе с писателями Д. Бергельсоном и И. Фефером, написал в 1957 году в израильской газете, что оба они обвиняли Эренбурга в даче против них показаний. Галина Серебрякова, ссылаясь на сталинского секретаря Поскребышева, в 1962 году повторила эти обвинения. Гольдберг, который дает слово и защитникам Эренбурга, и его обвинителям, пишет, что этим обвинениям никто не верит.

Но "поставим вопрос ребром, — пишет Гольдберг. — Не приходилось ли Эренбургу пресмыкаться и лгать больше, чем это было абсолютно необходимо человеку в его положении? Мне хотелось бы, чтобы этого не было, но факты говорят о другом".

В 1950 г. в Лондоне, на пресс-конференции, где присутствовал и Гольдберг, Эренбурга спросили о судьбе Бергельсона и Фефера. Спросили потому, что действительно хотели знать — это не был "провокационный вопрос" (вполне возможно, что спрашивал сам Анатолий Максимович). И в ответ Эренбург солгал. Начал с правды — что не видел ни Бергельсона, ни Фефера около двух лет (т.е. с самого роспуска антифашистского комитета), да и прежде встречался с ними нечасто, поскольку они не принадлежат к числу его ближайших друзей. А закончил словами: "Если бы с ними случилось что-нибудь дурное, я бы об этом знал". "Я и сейчас слышу его голос", — горестно заключает Гольдберг.

С этого дня Гольдберг и начинает отсчет эпохи "полного сервилизма" в жизни своего героя. В отличие от интеллектуалов-коммунистов на Западе, которые нередко и впрямь не видели того, что творится в Советском Союзе, Эренбург знал все и видел многое. Он не мог отговориться неведением, не мог добровольно надеть шоры на глаза — "для

этого надо было верить в идею. А Эренбург во многом остался скептиком". Гольдберг отмечает, что Фадеев, например, разговаривая с иностранцами о политике советского правительства, всегда говорил "мы"; Эренбург же говорил только "они". Гольдберг объясняет, что это "они", естественное в устах западного человека, для советского звучит нелояльно.

Очевидно, Эренбург не любил "их" и не отождествлял себя с "ними". Но работал он на них истово и лгал без запинки.

Гольдберг заключает: "Трудно было представить себе, что Эренбург когда-нибудь еще напишет что-нибудь стоящее. Опять всем казалось, что он кончился как писатель — и уже навсегда".

Последнему периоду жизни Эренбурга — его долговому высвобождению, его роли в разрушении литературных и политических "табу", борьбе с критикой и редакторами за прохождение мемуаров, и самим мемуарам, которые Гольдберг считает лучшей после "Хулио Хуренито" книгой Эренбурга — посвящено всего две главы, двадцать пять с небольшим страниц. Вероятно, если бы Гольдбергу было отпущено больше времени, он написал бы об этом подробнее. Следует помнить, что он успел закончить только первый вариант. Но замысел книги — показать, что "Эренбург остался Эренбургом" — проявлен достаточно отчетливо.

Между "Хулио Хуренито" и "Оттепелью" прошло 32 года — целая жизнь. "Хулио Хуренито" — плод абсолютной свободы, "Оттепель" — первая в постсталинской художественной литературе, очень осторожная "разведка боем".

По мнению Гольдберга, "Оттепель", в отличие от "Хулио Хуренито", отнюдь не шедевр, — но само

название романа, вошедшее в обиход и в России и на Западе и ставшее, в конце концов, обозначением хрущевского десятилетия, свидетельствует, что дар предвидения Эренбург во всяком случае сохранил. Он узнал симптомы оттепели. "К сожалению, — пишет Гольдберг, — весна за ней не последовала".

Именно название — "Оттепель" — вызвало самое большое негодование "советской общественности". С "оттепели" началась открытая борьба "между сталинистами и либералами; между теми, у кого был талант, и посредственностями, защищавшими свои шкурные интересы". В числе нападавших на Эренбурга были и Хрущев, и Ильичев, и Кочетов, и мелкая критическая сошка, сводившая старые счеты. Но теперь Эренбург не сдавался — во всех статьях и выступлениях того времени он настаивал, что возврат к прежнему невозможен, что литература — не рекламные проспекты, а живопись — не фотография. По поводу же "Оттепели" он заявил, что не считает ее идеологической ошибкой, и с гордостью подчеркнул, что она появилась за два года до XX съезда. Это был первый шаг на пути возвращения к самому себе. Путь возвращения был полностью пройден с выходом последней большой книги Эренбурга "Люди, годы, жизнь".

Сам Эренбург указал, что это скорее исповедь, чем хроника. Но Гольдберг поясняет читателю, что исповедь Эренбурга — не покаяние в грехах, не самобичевание на манер Руссо и не рассказ о всякого рода "сердечных делах". Может быть, западные читатели, которые читали мемуары Эренбурга почти одновременно с русскими (первые две части вышли в Лондоне уже в 1961 году), именно покаяния и ждали. Во всяком случае его ждали раскаявшиеся западные коммунисты. Но покаяния не было.

”А была попытка рассказать правду, какой он ее видит: о людях, которых он знал, об эпохе, в которую жил, и о том, что жизнь делала с ним и с другими в то время, когда совершалась история. Рассказать всю правду, как он и сам признается, оказалось невозможным: снова и снова в своих мемуарах он извиняется, что вынужден промолчать по тому или другому поводу. Но, так или иначе, он сумел сказать многое”.

Гольдберг считает эту книгу замечательным документом — по многим причинам. Прежде всего, по-видимому, потому, что она воскресила запрещенные имена, в частности имена Цветаевой и Мандельштама. Ибо Россия — ”страна, где поэзия стала составной частью человеческой жизни” — определение, делающее честь Гольдбергу. Да и кроме них, названы многие — даже Бухарин. И рассказано многое: подробности о погибшем Мейерхольде, о замученном Таирове, об исчезнувшем Михаиле Кольцове; впервые рассказано об уничтоженной ”Черной книге” — сборнике документов об истреблении евреев на оккупированной немцами территории Советского Союза. Собрали эту книгу Эренбург и Василий Гроссман; потом набор ее был рассыпан, и в последние годы жизни Сталина за чтение каким-то образом сохранившихся частей этой книги людям давали не менее десяти лет.

”Люди, годы, жизнь” — документ, и не только потому, что там много фактов. Эта книга воссоздает атмосферу разных эпох. За рассказ об атмосфере времен сталинского ”большого террора” на Эренбурга набросились с небывалой еще силой. Говоря об этом времени, он позволил себе сказать, что его мучили сомнения и что он жил ”стиснув зубы”.

Ильичев публично нанес удар: ”Вы не молчали,

Илья Григорьевич, — сказал он на собрании интеллигенции, — вы тоже восхваляли. Ну, в 1951 году мы все так писали и говорили... Но мы верили, а вы, как оказывается, не верили, — а все-таки писали и говорили то же самое...”

Гольдберг видит в книге общую идею, основную нить, — то, что делает ее исповедью, а не собранием документов, — в борьбе за свободу искусства, за ту драгоценную, не тайную, а открытую свободу, от которой сам Эренбург отказался в 32-м году.

Слово “свобода” вообще звучит на страницах мемуаров часто: “похоже, что Эренбург пользуется малейшим предлогом для этого”, — замечает Гольдберг.

Эренбург вспоминает, как в 1909 году, когда он впервые приехал в Париж, консьержка даже не пожелала посмотреть на его паспорт; цитирует Дон-Кихота: “Свобода, Санчо, это один из бесценнейших даров Неба”; напоминает, что то, о чем он говорил на первом съезде писателей (а говорил он о необходимости творческой свободы), долго еще будет оставаться на повестке дня.

Он не соглашается, что разделение мира на два противоборствующие блока должно касаться и культуры: вечный западник, он внушает новым поколениям, что европейская культура — это и их наследие. Вспоминая свою жизнь в свете этой культуры, он как бы проживает ее снова, вместе со своим новым читателем, жаждущим знаний и изголодавшимся по контактам с внешним миром.

Процитировав письмо к Эренбургу молодого читателя: “Хотелось бы мне верить, что когда я достигну вашего возраста, я увижу хоть четверть того, что видели вы, и приобрету хоть десятую часть ваших знаний”, — Гольдберг заключает: “эти слова

молодого читателя можно, пожалуй, считать достойной эпитафией нелегкому и противоречивому человеку, которому удалось пережить самые худшие годы советской власти”.

Так заканчивается книга Гольдберга.

Эрик де Мони в послесловии к книге сообщает, что Эренбург был в числе тех 62 членов Союза советских писателей, которые подписали письмо-протест против приговора Синявскому и Даниэлю. Он подчеркивает, что Эренбург последних лет считал главной задачей советского общества реабилитацию совести. Он говорит, что не во всем согласен с Гольдбергом, который, по его мнению, слишком охотно толкует противоречивые факты в пользу Эренбурга. Но в заключение он вспоминает — в порядке параллели — одну известную историческую фигуру.

У самых истоков Французской революции стоял аббат Сийес; он был знаменит, когда Робеспьера мало кто знал даже в его родном Аррасе. Но довольно скоро всякие упоминания о нем исчезли: его имени не было ни среди судей, ни среди казненных. Много позже, во времена Наполеона, кто-то встретил его и, изумившись, что он еще жив, спросил, что же он делал в страшные времена. И Сийес ответил: “Я жил”.

Для Сийеса, сумевшего замереть на несколько лет, этих слов было достаточно.

Эренбургу, имя которого не сходило с газетных страниц, нужно было оправдываться. Он не стал ни оправдываться, ни раскаиваться — он рассказал о своей жизни, о своем времени и о их взаимодействии.

Книга Анатолия Максимовича Гольдберга — первая серьезная книга об Эренбурге. Автор не защи-

щает и не осуждает: он объясняет, с привлечением всех доступных ему материалов. Каждый поворот этой петляющей биографии рассматривается с разных сторон, неприглядные факты не игнорируются и не затушевываются, лестные для персонажа — не раздуваются. Это — свободная книга об Эренбурге, не только потому, что она вышла в свободном мире, но потому, что она написана не предвзято. Это — честное рассмотрение, к которому мы, русские читатели, не привыкли: мы всегда или грудью защищаем, или бесповоротно осуждаем, наша позиция в литературе — чисто эмоциональная. У Гольдберга тоже есть позиция: чтобы понять, надо знать правду. Эмоции же прорываются редко — обычно тогда, когда он сокрушается над неэтичными поступками своего героя: "я хотел бы, чтобы этого не было!"

Книги о писателях пишутся по-разному. Лучшее многотомное исследование о Мериме начинается словами: "Я не люблю этого писателя" — и этими же словами заканчивается. Сдержанный, справедливый, терпимый Гольдберг нигде не признается в своей любви к писателю Эренбургу — но читатель прочитывает это вполне отчетливо. Гольдберг помнит свои встречи с ним, он дословно воспроизводит их единственный разговор (в Лондоне, в 1960 году) — о ранней книжке Эренбурга, которую мало кто тогда помнил; он вспоминает, что когда он прочел в газетах о советско-германском пакте, первой его мыслью было: а не покончит ли Эренбург с собой?

Он сокрушается о его нравственном падении в 50-е годы, он радуется, когда писатель, как оказывается, может снова ожить и подняться из "праха сервизизма".

И поэтому строгая и сдержанная книга об Эренбурге читается, как роман.

ПОРТРЕТ АБСОЛЮТНО ПРЕКРАСНОГО ЧЕЛОВЕКА

В 1954 году в Москве, в доме на улице Воровского писатели выбирали делегатов на свой второй съезд (первый, как известно, имел место за двадцать лет перед тем). Выбирали по-настоящему, не по заранее утвержденному списку.

Список избранных зачитывался в соответствии с количеством поданных за кандидата голосов.

Первым номером прошел Борис Пастернак.

Вторым — Фрида Вигдорова.

Кто же была Фрида Вигдорова?

Родилась в 1915 г., всю жизнь прожила в Москве; учительница младших, потом — старших классов; журналистка, писательница. Первая ее книга — "Мой класс" вышла в 1950 году. Неприсязательная книга о первом учебном годе молодой учительницы, только что окончившей институт: никакого опыта, все, чему учили в институте, не находит применения, а детей много, все мальчики (десять лет — с 1944 по 1954 — в Советском Союзе обучение было раздельным), и дети, даже самые благополучные, нуждаются в чем-то, непредусмотренном ни школьной, ни институтской программой. Она ощупью ищет этого самого непредусмотренного и необходимого, и в конце концов оказывается, что к ученикам, к классу в целом единого пути нет: к каждому сердцу (потому что именно сюда, к сердцу старается пробиться молодая учительница) ведет отдельная

и непростая дорожка. И это не совсем то, что в учебных планах называется "индивидуальный подход". Учатся дети, учится учительница — но и не научившись еще, не набравшись самого скромного опыта, она без слов сообщает и передает своим ученикам, а заодно и читателям, что-то единственное, чего больше нигде не найдешь. Читатели — школьники и их родители — почуяли это сразу. Книгу полюбили, а заодно полюбили и автора.

Критика книгу хвалила, осторожно и снисходительно. Рядом с появившимися тогда "Алыми погонами" Изюмского (тоже школьная повесть, только там — суворовское училище, советский кадетский корпус) она была странно аполитична, несовременна: она не "мобилизовывала", не "разоблачала": имя великого сталина (так и произносилось, как одно слово) в ней не называлось ни разу (и это, когда даже "Книга о вкусной и здоровой пище" начиналась цитатой из вождя). Раздельное обучение и задумано-то было, чтобы растить солдат, а не неженков, а в этой книжке процвел какой-то питомник нежных чувств. С другой стороны, после войны "утешительная" литература осторожно поощрялась: в этот разряд попадали и Вера Панова — для взрослых, и Фрида Вигдорова — для детей. Нужны были оазисы среди "выжженного каленой метлой" советского быта. Ее попросили сделать литературную запись воспоминаний Любви Тимофеевны Космодемьянской, матери знаменитой Зои и ее младшего брата, тоже погибшего на войне. Фрида написала эту книгу, щедро отдав титульному автору свои нравственные постулаты и душевные богатства. Говорят, Л.Т. Космодемьянская в книге мало на себя похожа. Но, тем не менее, — а может быть, именно потому — эта книга очень нравилась читателям.

Пошли читательские письма — дети и взрослые задавали вопросы. "Вот у вас в книжке... нельзя записывать, кто плохо себя вел... а наша учительница говорит..." Все-таки Павлик Морозов остался национальным героем — как же быть с доносительством?

Летом, на даче, прибежали две девочки и один мальчик.

— Тетя Фрида, он говорит, что не ненавидит фашистов!!!

— Не ненавижу, — сказал мальчик, тихо и упрямо. — Я их никогда не видел — как же я могу?

Он был равнодушно-спокоен: видимо, не раз думал обо всем этом раньше. Девочки кипели:

— Тетя Фрида, ну скажите ему! Скажите, чтобы он...

Что-то она сказала своим убедительным голосом. Мальчик пожал плечами, явно не убежденный. Старшая девочка (12 лет) кричала: "Я не понимаю!" — "И я не понимаю, — сказала Фрида, — я стараюсь понять". Когда дети ушли, она подумала вслух: "Трудно ему будет".

Вероятно, ему и в самом деле пришлось нелегко. Он был из тех, кто задает вопросы не старшим, а самому себе.

В то лето у Фриды Вигдоровой вышла новая книга — "Дорога в жизнь". Это повесть о воспитаннике Макаренко Калабалине (как и в "Педагогической поэме", где он был одним из главных героев, в вигдоровской книге он называется Карабановым). И вдруг оказалось, что Калабалин кому-то неугоден: кажется, он во время войны попал в окружение и потому стал "подозрительным"; так или иначе, кто-то власть имущий сурово сказал, что "Калабалина мы прославлять не будем". И тут автор вступился за своего героя.

“Вступиться” — глагол совершенного вида, как бы единовременный, одноразовый. Поднялся на собрании и заступился за кого-нибудь; вступился за обиженного; вступился за кого-то на улице... В Советском Союзе тогда — да и теперь, вероятно — “вступиться” — понятие длительное, многократное, многолетнее, так, во всяком случае, понимала этот высокий глагол Фрида Вигдорова. Пройти длинную лестницу — то вверх, то вниз — в поисках того, кто сказал “не будем прославлять”, искать и искать того, кто сможет снять невидимое клеймо, найти причину — первоисточник клеветы, персональный донос или просто примечание... Но кто же не знал тогда и не знает теперь, что это невозможно? И кому же охота снова и снова ударяться лбом о непрошибаемую стену? Лестница уходит неизвестно куда, “значительное лицо”, которое может принять решение, неуловимо, а донос — да кто же вам покажет донос? И люди качали головами: “Да, безнадега!”, а друзья говорили: “Да охота тебе возиться с этим Калабалиным! Только терять время!”, а в редакции советовали братья за другую книжку. Она все это слушала с удивлением: ей было ясно, что дело надо довести до конца. Простая, кажется, вещь — но до чего же трудная. Она довела дело до конца, на это ушло несколько лет. О детском доме, в котором работали Карабанов с женой, написаны три книги — трилогия.

Опять дети (и уже не московские, самим своим рождением в столице привилегированные), опять проблемы воспитания характера, которые у Вигдоровой всегда оказываются воспитанием сердца, и тихие подвиги терпеливой любви, такие для нее естественные. Все три книги написаны от первого лица, но интонация становится особенно достоверной

в третьей книге — когда рассказ ведет жена Карбанова, во время войны оставшаяся директором эвакуированного детдома. Все переменялось: нет рутины, такой успокаивающей, нет дня без непредвиденных катастроф (а в голодную зиму все может стать катастрофой), нет больше непоколебимой уверенности, что если не все люди, то по крайней мере все дети — добры по природе. Как-то она очень серьезно попросила подругу, вернувшуюся из лагеря, когда кончилась сталинская эра: "Дай мне фамилию самого мерзкого человека, которого ты видела за эти годы. Мне для книжки нужно". Подруга назвала одного из лагерных начальников. Его фамилию получил двенадцатилетний детдомовский стукач. И все эти книги Вигдоровой — райский сад, хоть и с заползшим туда змеем. Но в райском саду змей — одинок. А главное ощущение райского сада — всепроникающее тепло, несмотря на стужу. Тепло, счастливое тепло, охватывающее читателя — даже такого, который потом скажет, что это "не настоящая литература".

Был у Фриды Вигдоровой этот редчайший и опасный для нее самый дар — излучать счастливое тепло. В этом тепле у самых заостеневших людей, по-видимому, расширялись сосуды; они становились веселыми сами не понимая почему. Одно письмо из райцентра — туда она поехала хлопотать, чтобы старикам-колхозникам покрыли крышу, начиналось так: "Здравствуйте, Радость!" А написал письмо секретарь райкома комсомола, который и видел-то ее один раз. Крышу старикам покрыли (кажется, даже дефицитным шифером), о чем секретарь и докладывал. Это было ее собственное излучение, и каждому казалось, что оно направлено на него персонально: как-то раз она зашила порванный пид-

жак предприимчивому журналисту, после чего он предложил ей немедленно любовь и впоследствии — брак. Она изумилась искренно. — "Но ведь вы... сказал журналист, — Вы... Вы мне так истово зашивали пиджак!" Писательница Катя Баронина (автор забавной детской книжки "Удивительный клад") вернулась после десяти лет лагерей и сказала, что прежде всего хочет увидеть Фриду, что все десять лет ее вспоминала. — "Да разве вы были знакомы?" — "А как же? Перед посадкой я зашла в Детгиз, и там она была, и мы так замечательно поговорили..."

"Так замечательно поговорили..." У нее всегда было время для "замечательного" разговора, и, может быть, главное в этих разговорах, переходящих порой в исповеди, было то, что она всегда, всем сердцем была на стороне собеседника, не говорила ему мягким голосом: "А вот тут, Коля, ты не прав!" Она очень рано почувствовала, что человек ищет не справедливости, а чего-то совсем иного, и когда позднее у Герцена прочла, что справедливости он будет искать у квартального, а от друга ждет только любви и понимания, очень радовалась, и как-то незаметно распространила это правило далеко за пределы дружеского круга. Она не вершила справедливость, а помогала выбраться из трудного или неприятного положения, а если не могла помочь — все равно помогала.

Пришло письмо из провинции: молодую преподавательницу музыки выгоняют из музучилища за сожительство со студентом. Фрида поехала туда, потушила скандал, преподавательнице дали закончить учебный год, за это время ей удалось найти работу в Москве.

Приятельница рассказала интересную историю:

семью Волконских, возвратившихся из Парижа, отказываются прописать в Москве, милиция дает двадцать четыре часа на сборы, а глава семьи тяжело болен, а ведь — потомки декабриста!

”История во вкусе Калло!” — говорит интеллигентная приятельница, пожимая плечами. Фрида берет за дело: идет к международнику Жукову (когда-то с ним вместе работала в газете), тот звонит министру иностранных дел Шепилову (тому самому, ”и примкнувшему”): ”К нам едет делегация из Франции, спросят, где Волконские — что мы скажем?” Идет к Михалкову — после ”Дяди Степы — милиционера” милиция ему ни в чем отказать не может. Волконских прописывают.

Приходит письмо из лагеря (Сосьва, Северный Урал). Дело происходит в конце 50-х годов — от мальчика, который... Боюсь ошибиться, не помню в точности его дела, кажется, хищение каких-то деталей для радиоприемника. Фрида добирается в этот лагерь (в первый раз в жизни летит в самолете и на всякий случай пишет нечто вроде завещания детям), получает свидание с автором письма (который в лагере прочел ее книгу), возвращается в Москву, печатает статью о мелком уголовном деле и непременно тяжелом наказании, и добивается досрочного освобождения.

Все они потом бывали у нее — и Волконские, и учительница музыки, и похититель радиодеталей, и Калабалины. Сначала в крошечной коммуналке на Ермолаевском, потом на Аэропортовской в кооперативном писательском доме.

Был и такой случай. Двух молодых поэтов, студентов Литературного института собрались исключать за формализм. Уже готовилась проработка. Она пришла на эту проработку с журналистским

удостоверением. Написала статью. Поэты остались в Литинституте. Года через два один из них вдруг подошел к ней в столовой Дома литераторов — впервые. Пошел проводить до метро, по дороге рассказывая о своих чрезвычайно влиятельных друзьях (они и в самом деле у него завелись), а потом, как бы вспомнив:

— Фрида Абрамовна, вы можете прописать меня в Москве?

— Могу, — сказала она. — Но ведь я — для бедных. Для тех, у кого больше никого нет. Вам тут могут помочь...

И добросовестно перечислила несколько имен, среди которых были и его новые друзья — Грибачев, например.

— Я не хотел бы их беспокоить, — сказал он с неудовольствием.

— Ничего, — сказала она. — Им это будет нетрудно.

Потом она со вкусом пересказывала этот разговор, гордясь своей непреклонностью. Насколько я помню, это был единственный в своем роде случай. Те, кому она помогала — а число их росло непрерывно — становились друзьями и сами включались в цепочку помогающих, каждый на доступном ему уровне. Нельзя было, попав в ее орбиту, не попытаться ей помочь. Так и получилась та удивительная "круговая порука добра", которая заставляла вполне заурядных людей хоть раз в жизни взвалить на себя чужую заботу или беду, забыть успокоительное "все равно ничего не выйдет!", напрячь обленившиеся душевные мускулы, рискнуть, осмелиться. И иногда — получалось. Ей рассказывали, и она радовалась. Это была награда.

Был тогда такой шуточный лозунг: "Будем, как

Фрида!" "Ведь это значит — будем, как дети!" — перевел Илья Аграновский. Ну, конечно. Это никому не удавалось, но очень пригодилось, как мера вещей.

Удавалось "быть, как Фрида" только одной категории людей — героям ее собственных книг. И Марина Николаевна ("Мой класс"), и Галина Константиновна (трилогия "Это мой дом"), и даже Любовь Тимофеевна Космодемьянская ("Повесть о Зое и Шуре"), и Саша — героиня последних вышедших книг "Семейное счастье" и "Любимая улица" — все они — Фрида. И все-таки они были беднее Фриды, как создания всегда беднее создателя, будь он хоть сам Шекспир. Она естественно передавала своим персонажам — кому собственный жизненный опыт, кому привычки, кому — размышления, часто невеселые, и всем — неисчерпаемую душевную щедрость. В трудных ситуациях (не более трудных, чем ей самой выпали на долю) ее персонажи вели себя так, как она. И тут-то ей переставали верить: такого не бывает! — Но как же не бывает, когда я сама видела... — Ну, это единичные случаи! Исключения!

Школьный друг, когда она только начинала работать над первой книгой, сказал ей: "Ты никогда не будешь писательницей, потому что у тебя односторонне положительный взгляд на человеческую природу".

Это не официальные критики писали — это говорили друзья, советчики, братья-писатели. Некоторые понимали, в чем дело, но все равно не соглашались. — "Ты меришь собой!" — говорили ей. — "Нельзя, эта мерка неправильная". — "Но почему?" — "Ну, видишь ли... Вот, я написала, например, что Вася в общежитии у девочек всем понравился, потому что

починил стол. У тебя этот Вася не только починил бы стол, но сделал бы новую электропроводку для всего общежития, а вокруг дома разбил бы сад. Ты-то, вероятно, именно так бы и сделала, но...”

Короче говоря — нетипично.

Мы теперь отплевываемся от реализма — и социалистического, и несоциалистического — и ищем в свободном мире свободных способов самовыражения. Но рецепты реализма — чтобы было типично! — все равно достигают нас повсюду, во всех жанрах: и в космической фантастике, и в унылой порнографии, и в самых дерзких антиутопиях. Правда, с некоторым сдвигом по фазе: лучше пересолить, чем недосолить. По-прежнему разоблачаем, только наоборот. Как в известном споре, запечатленном Сергеем Довлатовым: “Это ты-то ненормальный? Ты как раз совершенно нормальный. Это я ненормальный!” Гордимся ненормальностью. По новой, обратной мере вещей.

О Фриде шутили: у нее в романе двое погуляли под дождем, и у них родился ребенок.

Это недалеко от истины. Она сама честно признавалась, что “об этом” писать не умеет. Ее книги пропитаны той любовью, которую Толстой считал самой высокой: любовью деятельной. Эту любовь она излучала и вызывала в других.

Ее выбрали депутатом райсовета, — это было почетно, и в сущности, для многих ничего, кроме почета, не означало. Она же сразу отнеслась к этому как к “должности” — с упором на долг, на обязанность. Были и некоторые, связанные с этим права, — например, право добиваться улучшения жилищных условий москвичей, ютившихся в подвалах. Насколько трудно было реализовать это право, свидетельствовали записи в ее депутатском блокно-

те, некоторые из них недавно опубликовала Лидия Корнеевна Чуковская — близкий и нежно любимый друг Фриды.

Росла известность, росло общественное признание — количество добровольно принятых на себя обязанностей росло тоже. Вокруг Фриды всегда, где бы она ни жила, возникало "телемское аббатство" — плотный, веселый круг близких по интересу и по духу людей. Но оно не давало укрытия — все больше и больше народу шло к ней со своими бедами. Знаменитые писатели, депутаты Верховного Совета пересылали ей читательские письма, ими полученные, с припиской: "Дорогая Фрида Абрамовна, вероятно, это Вас заинтересует. Нельзя ли помочь?" Она разводила руками: у них же гораздо больше возможностей, чем у меня! И — делала то, о чем они просили. Николай Оттен, которого все это очень забавляло, прислал ей пародийное письмо с фразой: "И вообще, Фрида Абрамовна, пора Вам принять меры: Евтушенко уже давно не был за границей!"

Она уже не могла работать дома — телефон звонил непрерывно, а она заканчивала "Любимую улицу"; пришлось работать в библиотеке. Надо было добиться московской прописки для Надежды Яковлевны Мандельштам, это не удавалось: позже это удалось сделать Ахматовой. Родилась внучка — в той же квартире. Надо ли объяснять русскому читателю, что значит быть бабушкой в Советском Союзе?

Оттепель кончилась. Поднималось новое поколение — будущие диссиденты. У Фриды в доме появился Амальрик, которому она помогла восстановиться в университете, Есенин-Вольпин, Александр Гинзбург. Это были новые люди — шестидесятники. Они ей нравились, она присматривалась к ним...

Когда она в первый раз слегла, врач сказал ей:
— Вы — загнанная лошадь. Понимаете? Загнанная лошадь!

— Можно, я буду пони? — спросила Фрида. В ней было 150 сантиметров роста, и сравнение показалось ей неправомерным.

Ее отправили в Малеевку — отдохнуть. И тут арестовали Бродского.

Фрида знала о Бродском от Ахматовой, от Надежды Яковлевны Мандельштам, от Адмони, от Эткинда: молодой поэт, талантливый, популярнейший среди ленинградской молодежи. И, разумеется, с трудной судьбой. Тот, о ком Ахматова написала: "Золотое клеймо неудачи На еще безмятежном челе". Не помню, нравились ли ей стихи самого Бродского — действительно, не помню, да и не в этом было дело. Она мгновенно поняла, что он — поэт, которого преследуют за то, что он поэт.

Поначалу арест Бродского от Фриды пытались скрыть. Никто не сомневался, что она немедленно кинется на помощь, а ее уже надо было беречь. Пока москвичи судили да рядили — сказать ли, когда, как — пришла телеграмма от Бориса Вахтина, прямым текстом обо всем сообщавшая. Она поехала в Ленинград. Времена менялись: "Литературная газета" не дала ей командировки. В зал суда, набитый заранее подобранной "публикой", она прошла по писательскому удостоверению.

Когда "публика" увидела, что неизвестная женщина все что-то строчит и строчит, поднялась, как пишут в советских газетах, "волна протеста". "Отнять у нее, что она там пишет! Отнять! Дружинники куда смотрят?" Фрида села на свой блокнот и сказала: "Попробуйте!"

Не осмелились.

А потом в Москве Фрида стояла у выхода из метро "Аэропорт" со стопками своих перепечатанных на машинке записей и предлагала выходящим: "Хотите запись суда над Бродским?" Ее узнавали, удивлялись, но экземпляры хватали. Знакомая осторожно спросила: "Зачем вы это? Ведь у вас могут быть неприятности!" — "И пусть!" — сказала Фрида.

Иностранная печать опубликовала вигдоровскую запись суда над поэтом. Имя судьи Савельевой стало нарицательным: французский поэт Добжинский написал о ней целую разоблачительную поэму, кажется, в Германии была даже радиопьеса.

А в Советском Союзе шла борьба за освобождение Бродского — долгая, трудная, с широким вовлечением друзей и знакомых, ближних и дальних, глухая борьба, без всякой надежды пробиться в отечественную масс-медиа. Конца этой борьбы Фрида не увидела. У нее оказался неоперабельный рак. Она об этом не знала. Она говорила: "Моя болезнь называется — Бродский".

Американка, которая тогда была в Ленинграде, увидев ее портрет, изумилась: "Так вот какое у нее лицо! — "А какое?" — "Ну... прелестное, мальчишеское лицо. Как же она решилась?"

И когда узнала, что у нее рак: "Ну да, когда у человека это... Ему уже все равно!"

А не так давно один француз, желая уяснить себе механизм ее бесстрашия, сказал:

— Но ведь за ней кто-то стоял?

— Кто?

— Ну... Вы говорите — ее отец был партийный? Декан факультета?

— Он умер в 1955 году. Да если бы он и был жив!..

— А она сама была членом партии?

— Беспартийная.

— Религиозная?

— Не знаю.

Фрида была из обыкновенной, не номенклатурной семьи. Была у нее только одна, от родителей полученная, привилегия: она росла в Москве, которая голодала всех меньше. Квартира на Сретенском бульваре, где она жила в детстве, была обыкновенная московская коммуналка с шестью примусами на кухне; школа, где она училась, была обыкновенная школа (44-я школа БОНО на Мясницкой); книги, которые она читала, читали все. Но из этой коммуналки она вынесла первое, на всю жизнь запавшее впечатление — почему-то не о ссорах на кухне (могло ли быть без ссор?), а о слепом старикенюре с красавицей-женой; но в обыкновенной школе ее учительницей становится замечательный человек и педагог Анна Ивановна Тихомирова; но среди книжек, которые она читала, были книги Лидии Чарской, которую и она, и Вера Панова, и Евгения Гинзбург до конца жизни защищали за то, что "будила эмоции и умела о них говорить". Она брала свое Добро там, где находила.

Один наглядный урок: как-то десятилетняя Фрида провожала домой свою учительницу — тут у них происходили самые интересные разговоры. Им навстречу попался нищий, и Анна Ивановна подала ему милостыню. Фрида, вечно слышавшая вокруг себя, что "не ест тот, кто не работает" и что "жалость унижает человека", подняла на нее вопрошающий взгляд. Анна Ивановна сказала: "Им хуже, чем нам".

Были потом в ее жизни люди, — неглупые люди — которые говорили: "Отдавать столько сил, ума, таланта на борьбу за Калабалина (за Иванова,

Петрова, Бродского)? Это же мелко! Какая-то теория малых дел!”

Не помню, что они предлагали взамен. Может быть, боббу за мир?

Фрида не бралась за дела вселенских масштабов — она спасала одиночек, которые к ней обращались, прямо или через других. Потому что знала: тому, кто просит о помощи — хуже. И помогала. И под конец оказалось, что, помогая одному человеку, она схватилась с самим Левиафаном — государством. Она не убоялась и победила, своим сердцем и своим пером. Только плодов своей победы не увидела.

Есть такая притча о голубке — Фрида ее очень любила. Человек захотел спасти погибающую голубку. И тут перед ним оказались весы. На одной чаше лежала голубка. Бог сказал ему:

— Перетяни чашу весов, и голубка будет спасена.

Человек обрадовался и нажал рукой на пустую чашу. Но чаша с голубкой перетягивала. Тогда он поставил ногу. Ничего не изменилось.

— Ляг на чашу животом, — сказал Бог.

— Как — вскричал человек. — Всем животом — за одну голубку?

— Только так! — сказал Бог.

Так Фрида Вигдорова понимала свое литературное и человеческое служение.

Но не хочется кончать рассказ о Фриде Вигдоровой на такой патетической ноте. Она любила хорошие концы в книгах и умела их устраивать в жизни. Вот несколько историй.

Анна Ивановна Тихомирова с сестрой и братом жили в собственном, крошечном особнячке. Кому-то он понадобился: всех выслали из Москвы как “чуждый элемент”. Фрида добилась их возвращения — не

легко это было. В это время она была начинающей журналисткой.

В начале 30-х годов, окончив педагогический техникум, Фрида работала учительницей в Магнитогорске. Там произошел трагический случай. Душевнобольная девушка из общежития, где жила Фрида, покончила с собой. Нашли ее дневник. В нем было написано: "Моя лучшая подруга — Фрида Вигдорова. Я ей оставляю свой крестик". Фриду вызвали в райком комсомола: "Значит, крестик носите, ком-со-мо-лоч-ка! Значит о Боге рассуждаете, ком-со-мо-лоч-ка? Значит..." В комнате, где это происходило, сидел еще один человек. Он сказал: "Да ладно тебе! Девочка и так убивается!" Вывел ее на лестницу и сказал: "Уезжай-ка ты домой, в Москву, так лучше будет". "Он тогда меня спас", — говорила потом Фрида, вспоминая эту историю. Через много-много лет, в пятидесятых годах, она, уже известная писательница, получила письмо из Сибири: тот самый человек, который ее спас, отсидевший в дальних лагерях два или три срока, просил помочь с его реабилитацией. Когда его реабилитировали (разумеется, она сделала все, что нужно и немного больше), он приехал в Москву и пришел к ней. Они встретились на лестнице — он сразу узнал ее. "Я — Дориан Грей", — смеялась она.

Нет ничего труднее, чем написать — словами — портрет абсолютно прекрасного человека. Даже Достоевскому это удалось только один раз. Но как же нам быть? Ведь мы жили в одно время, рядом, мы ее знали.

То, о чем я рассказала — лишь малая часть. Но я перечитала написанное — и не поверила себе: неужели она могла все это сделать? Как же она могла?